



Г. Померанц

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ



Г. ПОМЕРАНЦ

Неопубликованное

Большие и маленькие эссе

Публицистика

ПОСЕВ

Г. ПОМЕРАНЦ

Неопубликованное

Большие и маленькие эссе

Публицистика

ПОСЕВ

Обложка работы художника А. В. Русака

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1972
Frankfurt/Main
Printed in Germany

Большие эссе

ПЕРЕЖИТЫЕ АБСТРАКЦИИ

Виктор (если вам хочется представить себе мизансцену, — сидя на скамейке*). «Мир Исаака Ньютона, который 300 лет стоял несокрушимой твердыней современной цивилизации, рухнул, как иерихонские стены, перед критической мыслью Эйнштейна». «Мир, поддававшийся исчислению, оказался без меры и числа...» «И вот я, стоящий здесь перед вами, падаю в пропасть, вниз, вниз, вниз...»

Николай. Что это?

Виктор. «Слишком верно, чтобы быть хорошим». Шоу.

Николай. Я думаю, что это не слишком верно, хотя, может быть, и хорошо сказано. Мир Ньютона был удобен и приятен только для человека, жующего абстракции, как хлеб. Льву Толстому этот мир — со всеми усовершенствованиями XIX века — казался невыносимым. У меня в руках «Анна Каренина». Позволь, одну минуту, я отвечу тебе цитатой на цитату: «Он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, от-

* В садике с цветущими пионами, около бездействующего фонтана, на комендантском лагерном пункте Каргопольлага, возле столовой для з/к, расписанной в стиле рококо. Я писал первый вариант же, выйдя по амнистии, в 1953 г. и вспоминая товарищей, оставшихся в заключении. В 1959 г., впрочем, всё переписал, пренебрегая пластичностью образов, чтобы лучше выразить мысли (отчасти пришедшие в голову позже).

куда, для чего, зачем и что оно такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей; но для жизни они ничего не давали, и Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду и который первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть».

То, что для Шоу — «несокрушимая твердыня современной цивилизации», для Толстого — кисейная одежда, в которой душа неминуемо должна замерзнуть. И Лев Толстой был бы, наверное, очень рад, узнав, что твердыня рационализма — она же кисейная шуба — треснула от воротника до подола. Может быть, Эйнштейн, с психологической точки зрения, просто выполнял задачу, бессознательно усвоенную при чтении Толстого или Достоевского.

Евгений. А может быть Эйнштейн не читал Толстого и Достоевского?

Никол ай. «Братья Карамазовы» Эйнштейн называл своей любимой книгой. Я, конечно, понимаю, что опыт Майкельсона и неэвклидова геометрия имели более непосредственное отношение к делу; но кто знает пути бессознательного в душе величайшего рационалиста XX века?

Евгений. А какие глаза он любил, голубые или карие? Может быть, склонность к теории относительности вытекала из любви к неопределенному выражению глаз?

Никол ай. Насчет глаз я, к сожалению, ничего не могу сказать.

Виктор. Как жаль! Очень было бы интересно. Николай. Но, кроме шуток, я думаю, что абстрактные идеи переживаются иногда так же сильно, как голубые и карие глаза. Когда мне было шестнадцать лет, я очень был ушиблен тем, что существует бесконечность.

Евгений. Не понравился значок повернутой на бок восьмерки?

Николай. Нет, математическая бесконечность меня совершенно не волновала. Это было просто одно из значений тангенса и тому подобное, и так же мало затрагивало за живое, как сумма углов треугольника и прочие Пифагоровы штаны. Но я прочитал, кажется, в это время «Материализм и эмпириокритицизм».

Виктор. Гм!

Николай. Да, я очень любил в пятнадцать-шестнадцать лет читать Ленина. Мне нравился его стиль. Я не читал ничего лучшего о революции и считал Ленина (именно его, а не Горького) лучшим стилистом XX века.

Виктор. В особенности «Материализм и эмпириокритицизм»?

Николай. Нет, эстетически мне нравились «Что делать?», «Две тактики» и тому подобное. Но шаг за шагом я дошел и до «Эмпириокритицизма». И там я натолкнулся на фразу о бесконечности природы во всех своих проявлениях, в том числе и в электро-не. Тут и Брюсов кстати под руку попался — с его электронами, в которых пирамиды и память сорока веков. Я стал представлять себе вселенную как игрушечную матрешку, в которую вложена другая матрешка и так далее, в электро-не — вселенная, в электро-не-прим — вселенная-прим и т. д. Но в связи с этим я задумался вообще

о бесконечном, и оно меня очень испугало. Я почувствовал, что если бесконечность есть, то меня нет.

Виктор. Это похоже на персонажей «Бесов»: «Если Бога нет, то какой же я капитан?»

Николай. Да, возможно, слова капитана Достоевского надо понимать в таком же роде, — скорее как онтологическое, чем социологическое высказывание. Но в то время я не читал еще «Бесов». Мое философское образование целиком ограничивалось Лениным и Энгельсом. И всё же я очень ясно чувствовал: если бесконечность есть, то меня нет. Хотя в такой сжатой фразе, кажется, я не решался высказать свое чувство. Тем не менее меня охватила робкая надежда: быть может, я сумею когда-нибудь опровергнуть бесконечность?

Виктор. Как это — опровергнуть?

Николай. Вот именно — как? И что начинается там, где кончается пространство и время? Мне ничего не приходило в голову. В конце концов я пришел к выводу, что речь шла не вообще о бесконечности; бесконечность духа, или «бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель» (если воспользоваться словами Маркса в заметке о Рикардо), не портили мне настроения. Неприятна была только бесконечность пространства и времени.

Евгений. И вы ее опровергли?

Николай. Это сделал Эйнштейн: согласно теории относительности наш континуум пространства и времени конечен.

Виктор. Мне кажется, это надо понимать в таком смысле, что наши формы пространства и времени конечны и ограничены. Но за их пределами — другие формы пространства и времени...

Н и к о л а й. А почему не принять гипотезу, высказанную в Апокалипсисе, что «времени больше не будет»?

Е в г е н и й. «Не будет» — это уже время. Будущее. Форма предположения опровергает его содержание. Видимо, мистические видения нельзя высказывать, не разрушая логической структуры предложения.

В и к т о р. Тем хуже для предложения и его логической структуры!

Н и к о л а й. Я готов был бы оставить в стороне иронию, которую ты вкладываешь в эти слова, и принять их буквально. В конце концов логика — ещё не всё. Можно жить и без логики.

В и к т о р. И мыслить?

Н и к о л а й. И мыслить: баба мыслит, хотя и плохо, когда говорит: «во-первых, я этого корыта не брала; во-вторых, я его тебе вернула целым; в-третьих, оно всегда было разбито».

В и к т о р. Да, и это очень убедительно.

Н и к о л а й. При некоторых условиях — да. Библия, Евангелие, сочинения отцов Церкви полны противоречий; тем не менее они убеждали и убеждают сейчас, две тысячи лет спустя, несколько сот миллионов людей — вопреки всем стараниям Вольтера, Бюхнера и Емельяна Ярославского. И я не уверен, что Библия выиграла бы, если б ее переписали по всем правилам Аристотеля или Витгенштейна. Логика — лучшее средство убеждения только у классной доски на уроке математики. Но мне нет необходимости вступать в спор о достоинствах логики. По-моему, внутренний голос так же может быть ясно, непротиворечиво высказан, как голос пяти внешних чувств, — если «шестое чувство» достаточно хорошо проанализировано. Автор Апока-

липсиса не стремился к этому, потому что не обращался к ученым. Если вы не понимаете его языка, — извольте, я переведу. Речь идет о том, что пространство и время, возможно, формы только нашего мирка; а за ними — что-то другое, совершенно другое, никак не похожее.

Евгений. Где за ними? Или когда? «За» — предполагает пространство или время.

Николай. «За» — в данной связи означает чисто логическую последовательность; ей может соответствовать всё, что угодно.

Виктор. А почему ты не пошел по другому пути и не ухватился за субъективность пространства и времени, как это понимал Кант?

Николай. Вероятно, потому, что я был слишком материалистически воспитан. Я верил в реальность физического мира, и мне нужны были для моего внутреннего мира какие-то внешние, объективные подпорки. Я вернулся к этому года через четыре, уже в институте, лет двадцати.

Евгений. Прочитали какую-нибудь новую книгу?

Николай. Нет. Меня заедала тогда потребность оправдаться, что я выбрал литературный факультет. Собственно говоря, выбрал я философию и, следовательно, мог иметь дело с общими выводами всех наук. Но потом философский факультет закрыли. Я мог пойти на любой другой — например, стать физиком. Но я этого не сделал, потому что хотел учиться быть человеком, а не специалистом того или другого. Я чувствовал, что мне надо еще учиться быть человеком. Поэтому мне нужен был литературный факультет.

Евгений. По-моему, литературный факультет скорее способен развить безличность, чем личность;

меня он лишил всякого понимания «истины, добра и красоты».

Н и к о л а й. Дело не в лекциях, а в самих предметах. Я думаю, что каждая личность — это особый подход к вечным проблемам «истины, добра и красоты». Безличность — отсутствие самостоятельного подхода, существование прицепа, нуля после единицы. У некоторых людей стихийно складывается свое, иногда ни на кого другого не похожее лицо. Для «рефлексирующей натуры» вроде меня нужно найти свое лицо в книгах.

В и к т о р. Это можно понять, но при чем здесь пространство и время?

Н и к о л а й. Мне не хотелось думать, что интерес к гуманитарным проблемам был моей личной слабостью, не хотелось думать, что решающие проблемы действительности — это проблемы физики, химии (или, наконец, экономики), а то, что волнует меня, — для вселенной и для человечества не больше, чем десерт после обеда. Поэтому надо было доказать, что человек — главное лицо в мировом спектакле. И тут мне пришел на память первый тезис Маркса о Фейербахе: «Главный недостаток всего предшествующего материализма заключается в том, что действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развилась идеализмом...» Прямой грамматический смысл этих слов в том, что человек — творец мира, что он — при полном развитии своих сил — играет в природе роль, которую верующие приписывают Богу.

Виктор. Это значило бы только, что Маркс в первом тезисе еще следует за Фейербахом. Человек как сущность религии — это точка зрения Фейербаха.

Николай. Не совсем. Фейербах не приписывает человечеству космических творческих сил.

Виктор. И Маркс этого не делает.

Николай. В первом тезисе — делает, хотя и в абстрактных выражениях, но он, по-видимому, понял невозможность доказать тезис и не возвращался к нему. А я решил попробовать.

Виктор. В двадцать лет многие пробуют такие вещи.

Николай. Первое препятствие было чисто количественное: надо было уравновесить бесчисленность солнц и галактик, пространств, которые свет пробегает тысячи лет, и так далее.

Виктор: Почему тебя не удовлетворила формула Паскаля? «Человек — тростник... но этот тростник мыслит...»

Николай. За формулой Паскаля скрывается шкала ценностей, на которой дух стоит не ниже материи, — сколько бы ее ни было. Ты мог бы вспомнить и Канта.

Евгений. Что именно?

Виктор. Две вещи больше всего изумляли Канта: звездное небо над головой и нравственный закон в человеческой груди.

Евгений. Например, коменданта Освенцима.

Николай. Освенцима еще не было в 1938 году, когда я размышлял; но монистический взгляд на историю приучил меня не ставить вторичного выше первичного и даже рядом с ним; в моей тогдашней шкале явления ценились по их физической мощи. Поэтому мне нужно было поставить челове-

ка как космическое явление по крайней мере рядом со звездами, а по возможности и выше.

Виктор. Но это бред сивой кобылы.

Никол ай. Ничуть. По крайней мере ты должен будешь согласиться, что в моем безумии была своя система. Чтобы разоблачить дурную бесконечность — прошу извинения за гегелевский термин, он подходит к случаю, — я должен был оживить ее в сознании. И я снял запрет, которого держался четыре года, и начал вспоминать «звездный ужас», испытанный раньше, ужас перед ситуацией единицы, деленной на бесконечность. Если бесконечность есть, то меня нет; нет всего моего мира: земли, стен, оранжевого абажура над столом. Я вошел в это настроение настолько, что абажур несколько раз расплывался в моих глазах.

Виктор. Что за выверт! И всё это только для того, чтобы преодолеть свой комплекс неполноценности перед инженером! Извини меня, но это мазохизм!

Никол ай. Я забыл привести вторую причину. В те же годы меня ушибло стихотворение Тютчева, с прозаическим названием «По дороге во Вщиж»:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаём
Себя самих — лишь грёзою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглащающей и миротворной бездной.

К этому прибавились страницы из «Анны Карениной», которые я сегодня читал вам, из «Записок

сумасшедшего» (Толстого, а не Гоголя!), кое-что из Достоевского (машина, перемалывающая самое дорогое человеческое существо — из «Идиота»). Толстой, Достоевский, Тютчев видели выход только в отрицании материализма, науки, в попытке верить:

...Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Виктор. А ты решил доказать, что «предшествующий материализм» может быть снят материализмом диалектическим, который является «реальным гуманизмом и логической основой коммунизма?»

Николай. Совершенно верно. Я должен был доказать, что «воспитателя воспитывают» не только в смысле экономических «объективных причин», но и в смысле природы в целом, вселенной. Для этого я, прежде всего, поделил бесконечность на бесконечность; в итоге получается неопределенность, любое, но конечное число.

Виктор. В каком смысле это надо понимать?

Николай. Вспомни моих матрёшек. Если нет предела исчезающе малым дроблениям материи, то в любом нашем плевке содержится бесконечность, перед которой мы падаем во прах, глядя в небо. Человек ровно настолько же песчинка, насколько и макрокосмос. Словом, всем предметам возвращается их натуральная величина. То же со временем. Выражение «что это значит сравнительно с вечностью!» — теряет свой смысл: в микровселенных за один миг нашей жизни сменяются мириады цивилизаций.

Виктор: Но без какой бы то ни было связи с нашей жизнью. Если даже допустить, что в электронах живут маленькие человечки — а это решительно противоречит современной физике — то

всё же несомненно, что мы никак не влияем на их существование.

Н и к о л а й. Не скажи. Если в нашем брюхе — целая вселенная, то процесс пищеварения как-то отражается на ней.

Е в г е н и й. Разве только разрушительно.

Н и к о л а й. Хотя бы, но дух разрушающий есть дух созидающий.

Е в г е н и й. И наоборот.

Н и к о л а й. И наоборот. Важно поддержание общего процесса становления. Важно то, что человек при таком взгляде на вещи становится необходимым звеном в цепи физических, химических и тому подобных превращений. И если бы все мыслящие существа забастовали и сложили руки на животе, — вселенная прекратилась бы; этого не происходит только потому, что мыслящие существа хотят бытия вселенной!

В и к т о р. Фантастическая картина!

Н и к о л а й. Впоследствии я подобрал некоторые аргументы у Шрёдингера. Вы знаете, что все формы движения материи, кроме жизни, стремятся к минимуму, к чему-то вроде тепловой смерти. А всё живое, напротив, стремится к расширению своего бытия. Шрёдингер, если я не путаю, называл жизнь отрицательной энтропией.

Е в г е н и й. Сейчас отрицательной энтропией, кажется, называют информацию.

Н и к о л а й. Теория информации тоже может быть пущена на мою мельницу. Человек — существо в высшей степени способное сосредоточивать в себе информацию, то есть начало, противостоящее энтропии и уравнивающее ее... Но дело не в тех или иных аргументах, выхваченных из арсенала современной науки.

Виктор. Именно выхваченных. Наука убедительно говорит, что звезды и галактики превосходно существуют без человеческой помощи.

Николай. Да, пока. Но возможно, что когда-нибудь мы будем переделывать галактики...

Виктор. И создадим большое сцепление, охватывающее весь континуум пространства и времени, а туманность Андромеды превратим в штрафную — для таких философов, как ты.

Николай. Нет ничего невозможного. Но главное — отвлечься от всего нашего континуума, стать мысленно по ту сторону его, представить себе, как мы своей деятельностью — хотя и не видя конечных результатов ее — приводим в движение цепи причин, переворачивающих мириады микровселенных, по отношению к которым мы велики и могущественны. Какая тогда открывается картина! Нам принадлежит роль, приписанная демиургам, творцам миров. Но, как боги греков, мы не всеведущи и не всемогущи. Внося в мир движение, мы поддерживаем существование не только космоса, но и хаоса, который раньше или позже поглотит космос, — и наш, и всякий другой. «Вселенная порождает мыслящий дух в одном месте так же неизбежно, как и уничтожает его в другом». А мыслящий дух, сознательно участвуя в этой трагической игре, принимает на себя ответственность за вечный круговорот. В этом есть красота, которая не требует объяснений.

Пуускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец!

Евгений. По-моему, если вам хотелось верить в бога — греческого, христианского или какого-

нибудь еще, — так и верили бы; и в бессмертие души, и в загробное блаженство. Это по крайней мере утешительнее вашей картины. А с действительностью она имеет немногим больше общего.

Н и к о л а й. Мир, освоенный наукой, я не трогал, признавая его на самом деле таким, каким его сущность описывали научные теории. Я просто уходил на земли, по которым еще не ступала (и, как мне кажется, не могла ступить) нога ярыжек царства науки. На этом основании я считал себя в ладу с тем, чему меня учили.

В и к т о р. Очень хорошо. Но почему не поместить там Господа Бога? Правда, этого не может быть, но зато, как дешево!

Н и к о л а й. В том-то и дело, что для нашего поколения на Боге лежал отпечаток того, что «не может быть». Пусть это хорошо и прекрасно, но наука доказала, что души не существует, что печёнка, кости, сало — вот что душу образует.

Есть лишь только сочлененья

И затем соединенья.

Против выводов науки
невозможно устоять!..*

К тому же я прочитал «Братьев Карамазовых» и знал, что идея всесильного Бога приводит к таким же противоречиям, как и идея всесильной материи. Если же Бог не всемогущ, вроде Зевса, то, право же, таким Богом человек вполне способен себя самого вообразить и, больше того, — таким он может стать. Я это думаю и сейчас.

В и к т о р. Масштабы деятельности олимпийцев — запрудить речку, послать чуму и тому подобное,

* Н. Олейников.

— пожалуй, действительно не превосходят современных военных инженеров или биологов. Но надо обладать наивностью греков, чтобы видеть в выходах Зевса или Аполлона что-то возвышенное. Или тебе кажется прекрасным — золотым дождем спуститься к Данае, похитить Европу и тому подобное? Всякий современный бык или козел может совершить такие подвиги. Но согласишься, что труд ученого в своем кабинете — более достойное человека занятие. И только человека; Бог, занимающийся математическими выкладками, был бы смешон. Словом, оставим Богу Богово!

Н и к о л а й. Я с этим не спорю, я именно хотел сказать, что всё зависит от человека, и над ним нет не только Бога, но и материи.

Е в г е н и й. Материя исчезла, остался только гуманизм.

Н и к о л а й. Нет, не исчезла, как и Бог не исчез из мира: как идея и образ в человеческом сознании Он продолжает существовать.

Е в г е н и й. Зачем?

Н и к о л а й. Это моральная проблема, и сейчас ее некстати затрагивать. И материя существует, — поскольку мы, сознательные существа, не отказались участвовать в ее круговороте.

В и к т о р. Позволь, позволь. Если это научная идея, то где доказательства в ее пользу? А если — религиозная, то где тот Синай, на который она спустилась к нам в сиянии молний и реве громов? В метафизике можно болтать всякую чепуху, но зачем?

Н и к о л а й. Это идея не научная, но и не религиозная: она не противоречит науке, но относится к области метафизики. Метафизические идеи не доказываются. Это предположения, которые прини-

маются, если из них вытекают интересные выводы, — как аксиомы, которые сами по себе не подлежат верификации, но следствия которых могут быть истинными в одной какой-то области (и ложными — в другой). Я не утверждаю, что мое предположение облегчает работу физика; возможно, это гипотеза, которая ему никогда не пригодится, — как Лапласу ни к чему был Бог. Но физик тоже человек, и он, как Паскаль, может испытать «звездный ужас». Тогда ему остается сойти с ума, поверить в Бога или строить философские теории, может быть, лучше моих, а может быть, — хуже.

Виктор. Иначе говоря, ты приписываешь своему мифу психотерапевтическое действие. Но это очень индивидуально. Меня он не убеждает и не согревает.

Евгений. И меня тоже.

Виктор. Больше того, я убежден, что и тебя он удовлетворял, как новая игрушка, пока не надоел. Удовлетворял, может быть, сам процесс творчества. И если бы ты строил научную теорию на основе хорошо изученных данных, это тебя бы не меньше удовлетворяло бы. А пользы было бы больше.

Николай. Отчасти ты прав, отчасти ошибаешься. Ошибаешься, думая, что меня удовлетворила бы всякая теория. Любая умственная работа меня занимает и развлекает, как и тебя...

Виктор. И удовлетворяет, если это не пустая игра категориями.

Николай. И удовлетворяет, но по-разному. Я не буду в это углубляться, скажу только, что некоторые мысли имеют поэтическое достоинство и нужны, как хорошие стихи.

Виктор. Признаться, мне даже хорошие стихи

не очень нужны; но оставим поэту поэтово. Читай стихи, сочиняй стихи, если хочешь. А в научной работе поэзия ни к чему.

Николай. Моя работа была всего-навсего попыткой пересказать прозой впечатление от хороших стихов. В истории философии это бывает не так редко. Например, Ригведа — веданта... Но не будем в это углубляться. Хочу тебя обрадовать второй частью своего высказывания — о том, в чем ты прав.

Виктор. Я думаю, я прав на все сто процентов.

Николай. Но я признаю только пятьдесят процентов: концепция человека-демиурга в том виде, как я ее изложил, удовлетворяла меня, по-видимому, не всегда. Во всяком случае, рядом с ней из звездного ужаса родилась другая. Я оказался перед двумя рабочими гипотезами, не связанными друг с другом, не очень нуждавшимися, как мне казалось, друг в друге и удовлетворявшими внутреннее чувство каждая порознь. Это несколько подорвало значение каждой из них.

Виктор. Ну, что делать. Одна лошадь кончилась, давай теперь вторую!

Николай. Второй лошастью было представление о ступенчатости границ личности.

Виктор. То есть ты перенес в антропологию и онтологию физическое представление об отсутствии четкой границы между частицей и полем?

Николай. Совершенно верно. Я начал с того, что наше сознание, хотя орган его — мозг — помещается в черепной коробке, не считает себя сознанием одного черепа. Напротив, положение каждого пальца входит в мое я. И если пойти дальше...

Виктор. Заметь, что пальцы некоторым образом связаны с мозгом — нервами, кровеносными со-

судами; а эта скамейка, хотя ты прислоняешься к спинке ее головой, никак не связана ни с мозгом, ни с телом вообще; если ее сжечь, ты не почувствуешь боли.

Николай. Да, если сожгут одну скамейку, а не все вокруг: и именно скамейку. Если будут жечь мою любимую картину, то я, может быть, суну в огонь руку, чтобы вытащить ее... А в крайнем случае — брошусь в огонь головой.

Евгений. Ну, так уж и бросился бы!

Николай. Допустим, я бы струсил. Но люди бросались.

Виктор. Фанатики.

Николай. Не все люди, которые пошли на костер, способны жечь других. Ты считаешь Яна Гуса фанатиком?

Виктор. Не знаю, может быть.

Николай. А Джордано Бруно?

Евгений. Виктор предпочитает Галилея. Разумный человек всегда предпочтет отречься.

Виктор. Да, я предпочитаю Галилея, который своими открытиями сделал в тысячу раз больше, чем Бруно. К тому же Бруно вовсе не взошел на костер по доброй воле, — его втащили. И мне искренне жаль его, но я не люблю, когда создается культ мученичества.

Николай. А если мученичества нельзя избежать? Если надо заведомо пожертвовать собой, чтобы спасти других, дело, принцип? Вообще что угодно, если оно стало ближе тебе, чем собственные руки, ноги, сердце, голова?

Виктор. Я думаю, человек во время так называемых подвигов всегда надеется на чудо. Самоотверженный заяц, как ты понимаешь, рассчитывал на великодушие волка. Я не верю, что нормаль-

ный человек может пожелать своей смерти. Разве только фанатик; но он верит в вечное блаженство. Между представлениями о смерти и рае у него образуется условно-рефлекторная связь. Павлов однажды показывал Кеннону собаку, которая облизывалась от удовольствия, когда ее пытали током. Кеннон сказал: «Я понимаю теперь психологию христианских мучеников».

Н и к о л а й. И Павлов ему возразил, что не надо делать поспешных обобщений. Конечно, все мы по-своему лошади; каждый из нас по-своему лошадь. Но конюшня или собачья конура — не лучшая точка зрения на человеческие дела; не исчерпывающая.

В и к т о р. Боюсь, что основное не меняется...

Н и к о л а й. Оставим это под подозрением. Возьмем другой пример. Даже когда ты не обедаешь, чтобы окончить книгу, ты жертвуешь телом ради души.

В и к т о р. Ничуть! Я просто отказываюсь от одного удовольствия ради другого.

Н и к о л а й. Я готов условно принять твои термины, хотя они эстетически меня не удовлетворяют. Вопрос в том, почему одним людям доставляет удовольствие только физические ощущения — например, почесывание пяток, а другим — хотя они могут быть большими любителями поесть, выпить и так далее — еще большее удовольствие доставляет читать и писать книги, видеть или рисовать картины, наконец — помогать хорошим людям? Почему у одних людей «я» (это термин, признанный психологией, — не душа, которую ты не любишь) — узкое, как щель, только гривенники туда вталкивать, а у других — немного попросторнее? Почему одни хотят конституции, а другие — только сев-

рюжины с хреном? Согласись, что «я», сознание, душа может быть пошире и поуже.

Виктор. С этим никто не спорит.

Николай. Но если так, почему не предположить, что «я» человека в своем развитии может охватить всю вселенную? Что человеческий мозг — не только центр тела, но и всего окружающего мира? Что в каждом мыслящем существе приходит к сознанию и самосознанию вселенная в целом?

Евгений. То есть вы хотите сказать, что ваш мозг, некоторым образом, — выразитель этой скамейки, а скамейка, некоторым образом, выражает себя в вашем мозгу?

Николай. Да, некоторым образом это так. Помните, как комната Раскольников давила на его мысли, как она их направляла и подталкивала? Вещи имеют свой характер, и мы их выражаем, когда свыкаемся с ними. К сожалению, современные дома, мебель, утварь имеют по большей части дурной характер, или вернее — они безличны и в то же время с дурными наклонностями. И это очень отражается на нас.

Виктор. То есть среда влияет на людей; это давно известно. Но каким образом на тебя может повлиять туманность Андромеды?

Николай. Дело не во влиянии, а в чувстве связи. Если «я» изолировано от мира, то оно теряется в бесконечности. Если оно связано с миром, то бесконечность — это моя собственная бесконечность.

Евгений. К сожалению, я не чувствую никакой связи с туманностью Андромеды.

Николай. Очень жаль.

Виктор. Никто не имеет связи со звездами; но не все имеют мужество признаться в этом. Поэты

воображают, что звезды кокетничают с ними; а ученые знают, что это — скопления раскаленной материи.

Николай. Уверяю тебя, что поэты не совсем неправы.

Виктор. Нет уж, поэзия мне друг, но истина дороже.

Николай. Истина, добро и красота — а следовательно, поэзия — не так уж далеки друг от друга.

Виктор. Это тоже поэтический миф.

Николай. Ничуть. Тебе кажется, что ты стоишь на строго научных позициях. На самом деле, у тебя старые-престарые, демокритовские представления об отношении отдельного предмета, вещи в (данном случае — человека) к целому, миру. Целое вообще выкинуто. Атомы вертятся в пустоте. Атом с атомом никак не связан. По-моему, это как раз и является мифом. Мифом древнегреческого индивидуализма, распространенным на природу.

Виктор. Оказавшимся очень плодотворным для развития науки в отличие от мифов Платона. Не лучше ли поэтому говорить о научном упрощении, научной теории?

Николай. Если угодно. Но к чему наука пришла? Говорят о триумфе атомизма. Это триумф куколки, из которой вывелась бабочка. Были накоплены факты, взорвавшие схему. Остались слова — атом, вакуум; но атом теоретически и практически перестал быть атомом, неделимым, а пустота — пустотой. Понятие атома интерпретируется в современной науке так же свободно, так же далеко от первоначального значения, как понятие семи дней творенья в геологии иезуитов.

Евгений. Какой же миф создала твоя интуиция взамен?

Николай. Не только моя. Впоследствии я нашел идею «взаимной поддержки» у малоизвестного и, надо признаться, склонного к чрезмерной свободе фантазии философа Гурджиева.

Виктор. Я думаю, если покопаться, то все идеи были когда-то высказаны. То, что кажется новым в философии, всегда только перевод старой метафизической рухляди на современный язык. Возможно, твоими предшественниками были уже Конфуций или Лао-цзы.

Николай. Очень может быть. Но раньше можно было думать и так и сяк, а сейчас и наше знание природы, и наше знание общества, и наше знание самих себя в таком состоянии, что нельзя больше безусловно противопоставлять предмет — его отношениям с другими предметами. Понятие устойчивости надо отделить от понятия изолированности, обособленности. Двадцать человек, построившись в кружок, могут усестись на колени друг к другу, и положение каждого будет устойчивым. Можно мысленно выделить каждого и описать его как устойчиво сидящего; но на самом деле все опираются друг на друга. И так обстоит дело со всеми предметами, вещами, фактами в нашем континууме пространства-времени, и с самим нашим континуумом; всё существует лишь благодаря опоре на другое. Всё вещное — лишь совокупность отношений с другими вещами. Уничтожьте целое — и исчезнут части; вне целого нет и частей, как нет рук, ног, ушей, отрезанных от организма: остается инерция формы, но и она быстро исчезает. Мир надо мыслить не как машину, составленную из самостоятельных частей,

а как организм. В этом отношении у меня тоже много предшественников.

В и к т о р. Неудивительно: все предрассудки удивительно устойчивы. Но, может быть, ты позволишь почтительно заметить твоей философской интуиции, что примеры, которыми она пользуется, противоречат друг другу. Группа людей, сидящих на коленях друг у друга, — скорее машина, агрегат, чем организм.

Н и к о л а й. Я это понимаю; но примеры — это откровенная метафора; ни одну метафору нельзя вполне реализовать. Иначе получится не «Песнь песней», а пародия на нее, написанная Сашей Черным. Метафора, пример только намекают на то, что невозможно или трудно строго высказать.

В и к т о р. Допустим. Но организм — это довольно строго определимое понятие, и современные ученые не противопоставляют его машине. Кибернетика рассматривает организм как частный случай машины — и не только определяет, но и доказывает это своими электронными машинами, шахматистами и так далее.

Н и к о л а й. В этом нет ничего нового со времен Декарта и Паскаля. Научные определения основаны обычно на суженном понимании сущности явления. То, что в известном отношении становится главным, важнейшим, *существенным* — признается безоговорочно сущностью, и в данной науке такое упрощение оправданно. Для авиаконструктора существенное в птице — то, что она летает. Для конструктора инкубатора — то, что она высиживает яйца. Кибернетика создает более сложные машины — такие, которые способны выполнять не одну или две, но многие существенные функции организма. Я допускаю, что смастерят машины из отдельных

металлических и пластмассовых частей, способные и летать, и высиживать яйца, и строить гнезда, и петь. Но сущность жизни не сводится ко всему существенному, что мы о ней знаем. И если даже ученые смогут полностью воссоздать жизнь, в ней, как в произведении искусства (хотя картина является созданием рук человека), всегда останется чудо и тайна. Разум ученого и руки рабочего мастеров из изолированных деталей свои теории, чертежи и модели. А организм — это целое, в котором нет изолированных частей. Ученый, став художником, быть может, создаст организм; но тогда он не сможет объяснить, как это сделано, — подобно художнику, не способному объяснить свою картину. Создание органического — подсознательный или сверхсознательный, но, во всяком случае, не вполне сознательный акт.

Виктор. Органические вещества сейчас в тысячах тонн производятся на заводах.

Николай. Это — игра словами. Органическое вещество — соединение, обычно встречающееся в живых организмах, но не органическое явление.

Виктор. Различие — в степени. Сейчас уже учатся мастерить саморегулирующие явления.

Николай. Дело не в саморегулировании! Саморегулирование — существенная черта живого, но не сущность его.

Евгений. В чем же сущность?

Николай. Не знаю. Но в моем примере существенно то, что органическое не поддается разборке. Мысленно вы, конечно, можете проанализировать его, но возможности физического анализа и синтеза (иссечения и прививки кожи, например) очень ограничены и возможны только, опираясь на сохранение основных сил организма в целом.

Евгений. А если в будущем научатся консервировать отдельные части человеческого тела и соединять их снова в любых масштабах? Сказка о ковре-самолете осуществилась, почему не осуществима сказка о Бабе-Яге, спекающей Иванушку из рагу в своей печке?

Николай. Тогда я поищу другой пример. Ведь организм — это тоже только метафора. Если я говорю, что мир — скорее организм, чем машина, то я не имею в виду, что мир — это организм. Я не могу строго высказать, что такое мир, потому, что наш язык при точном употреблении годится только для описания машин и схем; а на полноту явления можно только намекать, как это делают поэты. И пока ученые еще не сравнились с Бабой-Ягой, я сравниваю мир с организмом, некоторые части которого можно отделять и приживлять, но только опираясь на его единство, которое ускользает от анализа и синтеза.

Виктор. Итак, ты утверждал, что существует в действительности лишь целое?

Николай. Да, целое, подобное бесконечному клубку нитей, и отдельные предметы, вещи — только узелки этих нитей, идущих, так сказать, ниоткуда в никуда. Один из этих узелков — ты, я или другой человек; и в нас, мыслящих узелках, вселенная себя сознаёт.

Виктор. Это довольно похоже на представление о Пути, Дао, из которого всё возникает и в котором всё исчезает.

Николай. Вероятно, хотя, наверное, есть и различия. Но важно вот что: я не думаю, что целое обладает актуальным бытием. Во всяком случае, бытие целого ни в одной форме не может себя полностью проявить.

Евгений. Что же тогда обладает бытием?

Николай. Если ты говоришь о предметах, — ничто. Всё лишь стремится быть (если сознает себя) или стихийно движется к бытию или к небытию. Отдельный предмет — иллюзия, он не существует сам по себе, независимо от других; то, что мы называем предметом, — это, говоря словами Рассела, «устойчивая цепь событий», из которых человеческая психика сформулировала Gestalt, образ. Анализ разбивает его, и сознание пытается создать образ сверхпредмета — единое элеатов, субстанция Спинозы, эфир физиков. Но как только мы создали этот сверхпредмет, — анализ показывает, что он не лучше других предметов; вне отношения с другим — его нет; чистое бытие, бытие вообще оказывается ничем.

Виктор. Смотри: Гегель, наука логики, часть первая.

Николай. Совершенно верно. Точка зрения элеатов не более верна, чем точка зрения Демокрита; немецкий язык, на котором мы говорим «поставьте меня в центр картины», не более истинен, чем английский, на котором мы скажем «введите меня в обладание всеми фактами» (атомарными фактами, как это философски рафинированно выражают Рассел и Витгенштейн). И колорист, у которого предметы как бы постепенно выявляются из переливов красочных пятен, из пленера, не обладает привилегией перед рисовальщиком, складывающим целое из частей, каждая из которых представляет самостоятельный предмет.

Евгений. Я не всё понял, а то, что я понял, уже было сказано: предметов и вещей нет, есть только комплексы ощущений.

Николай. Ни в коем случае! Если я говорю об иллюзорности предмета, то это не значит, что предмету ничего не соответствует в действительности. Гештальт, образ, представление отражают мир примерно так же, как это сделал бы прибор. Здесь перед нами не столько специфические свойства сознания, сколько общие свойства всякого отражения, отношения к другому, связи бытия. Вещность, а следовательно, предметность — форма, в которой мир движется в бытии.

Евгений. Это непонятно. В чем, кстати, разница между вещью и предметом?

Николай. Предмет, объект — нечто более субъективное, координированное с субъектом. Мы можем сказать: предмет мысли, но не говорим — вещь мысли. Вещь — это то, что мы рассматриваем как предмет. Я утверждаю, что каждая отдельная вещь иллюзорна, потому что она существует только в известной связи. И если мы рассечем все эти связи, то вещь исчезнет, как луковица, с которой сняли, слой за слоем, всю ее плоть. Это не значит, что вещь создана разумом или чувством. Чувство, представление, мысль достраивают вещь на человеческий лад, придавая ей четкий вид предмета или более расплывчатый — явления (в зависимости от того, насколько устойчивой кажется нам созерцаемая вещь). Но в обоих случаях фундамент постройки — вне нас.

Я утверждаю далее, что попытка построить предмет, за которым не стоит никакая отдельная вещь, приводит к понятиям, которые так же схематичны, как понятие атома: субстанция, эфир и так далее. И то и другое — формы, в которых мы как-то называем, опредмечиваем пределы своего знания и потом оперируем с ними так, как если бы неизвест-

ное было известным. Бессмысленно ставить вопрос, что первичнее: атом или субстанция, потому что и то и другое — предметы мысли, за которыми непосредственно не стоит никакая вещь.

Виктор. Для чего же ты так горячо сражался с моим, так сказать, атомизмом?

Николай. Во-первых, потому что по характеру я предпочитаю элеатов; во-вторых, мне хотелось сдвинуть с места застывшие понятия и показать, что мир, в сущности, неописуем, что тришкин кафтан — не такое платье, в котором можно с гордо поднятой головой ходить по бульвару, что разум должен научиться скромности и принять верительные грамоты интуиции поэтов и пророков.

Виктор. Иррационализм ни к чему хорошему не ведет.

Николай. И рационализм также. Атомистически четкие представления о предметах иногда полезны, но как философия это ведет к задачам, не более разрешимым, чем перпетуум-мобиле. Если конечные вещи обладают полнотой бытия, то возникает миф о познании, которое бесконечно приближается к своей цели и практически сливается с предметом. Действительный процесс научного познания, переворачивающий привычные теории буквально вверх ногами, всегда оставаясь только созданием схем, моделей, — был бы фальсифицирован. Мы приняли бы какую-то схему за действительность или идеал действительности и вколачивали бы ее в жизнь без всякой пощады: авось она сама по себе обрастет мясом. Напротив, понимая иллюзорность конечного...

Евгений. И бесконечного.

Николай. Разумеется, — и бесконечного, мы не поклонялись бы словам и сочетаниям слов, или

условных символов математики, понимая, что истина отражается в них не больше, чем небо в осколках зеркала, и осколок, в котором вчера сияло отражение солнца, сегодня может быть темен, как туча.

Виктор. Это изящно, но неверно. Механика Ньютона не опровергнута теорией относительности, а только ограничена в своих приложениях.

Николай. Разумеется. Мы по-прежнему пользуемся законами Ньютона для решения некоторых задач. Но мы не думаем, что Бог создал вселенную по уравнениям классической механики, — как это делали в XVIII веке.

Виктор. Мы вообще не думаем, что Бог создал мир.

Николай. Но схеме конечной вселенной с максимумом скорости, равной 300 000 км. в секунду, и т. д. — мы склонны приписывать достоверность.

Виктор. Во всяком случае, — бóльшую достоверность.

Николай. А я думаю, что достоверность всякой научной теории мира примерно одинакова: это попытка объять необъятное — с негодными средствами.

Виктор. Однако предсказания Эйнштейна были подтверждены опытом.

Николай. Да, они позволяют строго, последовательно описать бóльшую группу фактов, чем теория Ньютона. В этом смысле наука непрерывно развивается, — как и практика. Мы можем, например, сегодня передвигаться быстрее, чем сто или даже десять лет назад. Но мы не стали от этого ближе к истине.

Евгений. Что есть истина?

Н и к о л а й. Соответствие реальному, тому, что есть, бытию. Но то, что существует вокруг нас и воспринимается нашими пятью чувствами, не обладает полнотой бытия. Бытие того, что существует, нетвердо, как вода. Поверхность лужи, озера или моря одинаково не годится для того, чтобы ходить по ней. И чем больше воды, тем труднее добраться до твердого дна, о которое могут опереться ноги. Ирокезы ходили по луже, а мы плаваем по морю.

Е в г е н и й. Ты хочешь сказать, что у ирокезов были более правильные взгляды на мир, чем у современных физиков?

Н и к о л а й. Да, хотя они не справились бы с фактами, среди которых свободно плавают современный физик; ирокезы потонули бы в них.

В и к т о р. Ты явно подменяешь истинное — психологически удобным и приятным, антропоморфным.

Н и к о л а й. Зачем? Просто у меня другой критерий истины. Я признаю шестое чувство более достоверным свидетелем, чем первые пять.

В и к т о р. Это значит — объяснять непонятное с помощью еще более непонятного.

Н и к о л а й. Что делать? Пять чувств так противоречивы, разбор их свидетельств в процессе, который несколько сот лет вела наука, привел к такой безнадежной путанице что сами ученые рассматривают теперь свои теории только как рабочие гипотезы, годные для решения практических задач, но негодные как путь к истине. Из мифов ирокезов вытекала их мораль, их образ жизни. Из современных научных теорий вытекает только шизофрения.

В и к т о р. Современный человек действительно неспособен охватить всего огромного богатства, которое создано человеческой культурой. Но это,

прежде всего, относится к полуобразованным людям. Хорошее образование, не углубляясь в детали бесчисленных частных наук, всё же может быть достаточно универсальным и дать человеку руководящую нить в мире, в котором мы живем. И чем ближе оно к основам наук, чем дальше от антропоморфизма, тем оно истиннее и в то же время здоровее. Ты не можешь сказать, что Рассел ближе к типу шизофреника, чем Хейдеггер.

Н и к о л а й. Рассел — мудрый старик, но его мудрость основана на традиционном английском здравом смысле, который он вносит в проблемы теории познания и логики, а не вытекает из его логики и теории познания самих по себе. Рассел — либеральный консерватор, который принимает новое, оставаясь на почве старого. Это специфически английское явление и отчасти явление прошлого века: он ведь очень стар.

Но я вовсе не руссоист и не стою за то, чтобы вернуться в вигвам. Я совершенно согласен с тобой, когда ты говоришь о пользе образования. Только я считаю, что образование должно быть основано на этих проблемах, прежде всего, готовить к решению этих проблем.

В и к т о р. Считаешь ли ты ясность мысли и определенность понятий тоже не вредными? В частности, для самого себя?

Н и к о л а й. Безусловно. И попытаюсь, насколько это возможно, разъяснить мой, или вернее очень старый парадокс о том, что существующее лишено полноты бытия. Я попытаюсь проанализировать это понятие, или по крайней мере показать, как я к нему пришел. Представь себе, что толчком для меня опять было чтение Маркса — «Критики политической экономии».

Виктор. Конечно, «Введения» — о греках как нормальных детях человечества и так далее?

Николай. Нет, самой «Критики», и совсем не о греках. Я встретил там примерно такую фразу: разложение всех потребительных стоимостей в стоимости представляет собой такую же объективную абстракцию, как разложение тел при гниении. Слова «объективная абстракция» поразили меня. Я не спал до трех часов ночи, обдумывая их, и, вскакивая с постели, записывал следствия, которые вытекали из этого принципа.

Евгений. Это было тоже в двадцать лет?

Николай. Нет, в двадцать восемь — в 1946 году. Я в это время почти ничего не делал, ожидая демобилизации, и имел достаточно времени для размышления. Но основные идеи пришли ко мне залпом, в несколько часов.

Если вы помните, у меня было представление, которое я в научнообразной форме могу выразить как постулат о тождестве частицы и системы, или, говоря другими словами, о бесконечной дифференциации атомов пространства и времени в системы и бесконечной интеграции систем частиц, вселенных, в атомы высшего порядка.

Виктор. Это не связано с тождеством частицы и волны по де Бройлю.

Николай. Да, мой постулат можно рассматривать как обобщение частных высказываний Шрёдингера (электрон — волновой пакет) и де Бройля (частица — волна). Первый толчок мне дал Ленин, но я знал о высказываниях физиков из популярных статей Львова в журнале «Новый мир», еще с первой половины тридцатых годов.

Виктор. Солидный источник!

Н и к о л а й. Не очень; но не всё ли равно! Чисто логически я проделал ту же операцию, что Эйнштейн с опытом Майкельсона: парадоксальное состояние объявил нормальным и всеобщим, а не парадоксальные, привычные для здравого смысла — иллюзорными, феноменальными, приближенно воспринятыми и схематично понятыми. Разница, впрочем, в том, что Эйнштейн имел дело с парадоксальным фактом, который сам по себе не вызывал сомнения и допускал количественное описание. А я обобщил качественные высказывания, не допускавшие количественного описания...

В и к т о р. И отвергнутые большей частью физиков. Само существование отдельного электрона для современной физики проблематично. Что же говорить о его расчленении! Конечно, хорошо бы представить себе электрон как галактику: тогда волновые свойства его потеряли бы парадоксальность. Но научная теория должна быть основана на фактах, а факты этого не подтверждают. Тебе наплевать на факты. Ты всё время рассуждаешь, как в анекдоте: «— Вы слышали, на станции Вязьма бутерброды по пять копеек штука? — Не может быть! — Не может быть, но зато как дешево!»

Н и к о л а й. Я тебе отвечаю: наши приборы взаимодействуют нормальным образом только с ансамблем элементарных частиц; отдельная частица ускользает от взаимодействия; измеряя, прибор искажает ее, так что нельзя установить сразу и положение частицы и ее энергетическую характеристику, приходится выбирать что-нибудь одно; всё это так; но думал ли ты, почему это так?

В и к т о р. Не всякое «почему» имеет смысл. Есть ложные проблемы, и это одна из них. Микромир не похож на наш — вот и всё.

Н и к о л а й. А по-моему, это содержательная проблема. Попробуй мысленно представить себе ось, проходящую от галактики к электрону. Не в физическом пространстве — в этом пространстве она будет точкой, но в условном пространстве восприятия.

Е в г е н и й. В метафорическом пространстве.

Н и к о л а й. Да, в пространстве — в кавычках. По мере того, как мы мысленно движемся по этой оси...

Е в г е н и й. Самой по себе мысленной.

Н и к о л а й. Да, по мере движения от своей точки отсчета «вниз», то есть от более крупных систем, сравнимых с системой наших органов восприятия или приборов, к более мелким, мы испытываем то же, что при взгляде вдаль: ближайшие предметы взаимодействуют одновременно со всеми чувствами: осязания, обоняния, слуха, зрения; если взять их в рот, то и вкуса. На поверхности рта прекращается восприятие вкуса; на поверхности кожи — осязания; на сравнительно небольшом расстоянии прекращается запах; звук начинает отставать; остается только зрительное восприятие, но и оно становится всё более общим, всё больше утрачивает детали, конкретные особенности. Постепенно остается только расплывчатое пятно, которое сливается с другими пятнами. Конкретное всестороннее взаимодействие нашего тела (прибора) с объектом уступает абстрактному одностороннему восприятию пространственной точки. Это — не каприз наших чувств; приборы, поставленные в точке отсчета, могут быть чувствительнее (телескоп, сейсмограф), но в конечном счете результат совпадает.

В и к т о р. Однако мы сколько угодно можем рассматривать звезду в телескоп, не изменяя ее.

Николай. Но мы не можем испробовать пудинг, не съев его и, таким образом, не уничтожив. По отношению к электрону даже такое тонкое средство, как свет, поток фотонов, так же грубо, как зубы, раскусывающие пудинг. Мы объективно абстрагированы от структуры электрона, не можем ее проанализировать. У нас нет для этого инструментов. С помощью ряда искусственных посредников мы можем «взяться» за электрон, но то, что мельче его, с нами индивидуально не взаимодействует. Оно сливается, как предметы на линии горизонта, в предельную абстракцию бытия — поле, вакуум, пространство. Пространство, с моей точки зрения, не пустота, а абстракция формы взаимодействия с нашим телом отсчета слишком мелких по отношению к нему частиц-систем — вселенных. Ось «большое-малое» рассечена, таким образом, на конечные отрезки, объективно абстрагированные друг от друга. Двигаться по ней всё дальше и дальше, в так называемую дурную бесконечность, нельзя. Дурной бесконечности нет, кроме как в головах математиков. И когда мы приписываем этой головной абстракции действительность, интуиция возмущается.

Евгений. А почему чувство не угадывает ложности представлений о ведьмах? Ведьм тоже нет.

Виктор. Оставаясь последовательным, ты должен ответить: если чувство не угадывает выдуманности ведьм, то они, может быть, существуют. Иначе откажись от представления об интуиции как о высшем критерии.

Николай. Я могу ускользнуть от этой дилеммы, признав известное равноправие обоих критериев: научно-экспериментального и эмоционального. То, что противоречит эмоциональной интуиции, может быть метафорой. Эта метафора в основе

своей не ложна, но, быть может, примитивно интерпретирована. Ошибка — не в фантазии поэтов, создавших образы фей или ведьм, а в рассуждениях инквизиторов, реализовавших эти метафоры. Инквизиторы, как ты, вероятно, знаешь, были рационалистами не в меньшей мере, чем современные юристы. С мистикой и поэзией у них нет ничего общего.

Виктор. Допустим. Но остается еще один вопрос, ближе к делу: что происходит при движении от твоего тела отсчета к «очень большому»? Где конечная станция на этом пути? И как обстоит дело со временем?

Николай. Движение «вверх» означало бы выход за пределы эйнштейновского континуума пространства-времени. А у нас нет оснований не верить Эйнштейну, что это невозможно.

Виктор. Сейчас ты заговорил о пространстве-времени, а «внизу» видишь только пространство. Если ты признаешь законность моего «почему», то почему это так?

Николай. Время я склонен был помещать «наверху» и мыслить себе как форму взаимодействия с нашим континуумом исчезающе больших систем. Но, возможно, мне следовало всё время говорить, вслед за Минковским, о едином пространстве-времени. Я недостаточно чувствую эти абстракции. Могу только сказать, что в условном одномерном пространстве «от большого к малому» все три оси координат геометрического пространства представляются мне точкой. В начале отсчета Эвклидовы оси перпендикулярны, но на эйнштейновской сфере сливаются. Там и находится конечная станция по дороге вверх, поэтому «вверх», «вниз» и «вбок» — равнозначные направления. Таким образом, и линейность оказывается иллюзией. Разработать эти

представления математически строго я лично не могу, не умею; но возможно, что человек с хорошим математическим образованием, заразившись моими идеями, справился бы с этой задачей. В качестве первой попытки могу предложить постулат: эйнштейновская сфера — общее место перпендикуляров, проведенных из любой точки внутри сферы... Словом, мне мерещится, что движение «вверх» и «вниз» в какой-то новой, смелой абстракции — это иллюзия, весь наш континуум пространства-времени может быть сведен к одной точке, математической точке, то есть что его, в известном смысле, нет, как и всякого другого, впрочем.

Виктор: Эту точечность мира я позволил бы себе, по аналогии с дурной бесконечностью, назвать дурной точечностью.

Николай. Если хочешь. Это, конечно, абстракция математического типа, чисто количественная, а все такие абстракции, с интуитивно-эмоциональной точки зрения, дурны. Но что-то жизненное за этой абстракцией можно увидеть. Переходя на другой, математический язык, я сказал бы, что для миров иных мы так же не существуем, как они не существуют для нас. Но, обладая интуицией, мы можем предчувствовать бесконечные возможности миров иных, которые в нашем мире не осуществились, и пытаться осуществить их — в себе и в жизни. В этом смысле я понимаю Достоевского: «Человек жив только таинственным прикосновением к мирам иным». Человек задохнулся бы в качественно ограниченном мире.

Виктор. Человек, как мы знаем, не задыхается даже в тюрьме. Человек, как сказал тот же Достоевский, — животное, которое ко всему привыкает.

Н и к о л а й. Это так же верно, как то, что человек смертен. Привычка — духовная смерть. Радхакришнан в «Восстановлении веры» написал: «Часто спрашивают, может ли душа жить после смерти тела. Как бы ни ответить на этот вопрос, ясно одно, что часто душа уже мертва тогда, когда тело еще живо». Жизнь души — это стремление к полноте бытия, к качественной бесконечности, которая в воображении всегда больше осуществима, чем в действительности, и в произведении искусства — больше, чем в практической жизни.

В и к т о р. Воображение, конечно, в какой-то мере необходимо и полезно...

Н и к о л а й. Я думаю как раз наоборот: практическая жизнь полезна и необходима, поскольку она питает жизнь души. А если она перестает питать жизнь души, люди кончают с собой или перестают быть людьми. Корни души — в теле, в обществе и в пространстве-времени, поэтому надо заботиться о теле, об обществе и, если бы пространство-время в нас нуждалось, о нем. Но ветви души, пока она живет, уходят в небо, с которого льется свет абсолютного бытия. А ветви, как ты знаешь, — с листьями на ветвях, нужнее корней. Может быть лист без корня, например, водоросль, но нет живого корня без листьев. Только мертвый пенёк. И нет ничего в подлунном мире, что больше, интенсивнее, полнее было бы, чем человеческая душа.

Есть что-то позорное в мощи природы,
Немая вражда к лучам красоты.
Над миром скал проносятся годы,
Но вечен только мир мечты.

Я изменил бы в первом стихе слово «позорное» на «иллюзорное», но этого не позволяет размер. Нет

никакого позора быть скалой или деревом. Это не позор, а несчастье. Позорно только, родившись человеком, стать чиновником и быть мертвее камня.

Виктор. Вернемся к нашим баранам. Оставим обывателей в покое. Ты высказал тезис, что бытие — это качественная бесконечность, конкретность; небытие, по-видимому, абстракция?

Николай. Не совсем. Нет ни полного бытия, ни полного небытия. Абстракция — тот предел небытия, который может быть достигнут.

Виктор. Допустим, что это так. Как быть со способностью к абстрактному мышлению, которая отличает человека от животных?

Николай. Человеческое сознание оперирует призраками абстракций, чтобы преодолеть власть объективных абстракций. Живую воду похищают в царстве смерти.

Евгений. Это «изячная» фраза, которая моему уму ничего не говорит. Вернитесь к словам, которые имеют смысл не только в сказке.

Николай. Я постараюсь это сделать. Отношения, которые выявились при рассмотрении мысленной оси «большое-малое», были отношениями относительной объективной абстракции. В этом аспекте тело отсчета всегда обладает максимумом конкретности, максимумом полноты бытия. Что бы это ни было: планета, роза, баран и так далее, от свойств тела отсчета мы отвлеклись. Теперь поступим иначе: отвлечемся от пространственно-временных отношений, от связей предметов между собой. Поставим все предметы рядом и сравним их структуру. Сохраним предположение, что каждый предмет-узелок, что отдельная «нить» (связь частиц) неощутима, не индивидуализируется в восприятии (человека или прибора), а самый простой узел — это элементарная ча-

стица, и узел — это переход от почти-небытия «нити» (если хочешь, от «бытия в себе» абстракции) к конкретному бытию индивидуума. Введем понятие полноты бытия и определим его как осуществление всех возможностей структуры, то есть не только хаотического нагромождения «нитей», но осуществление возможных композиций из «узелков» первого порядка в «узлы» второго, третьего порядка и так далее. С этой точки зрения можно говорить об абсолютной объективной абстракции и конкретности. Бытие солнца абстрактно и неполно. Это большая, но неразвитая структура из маленьких, но также неразвитых структур. Нагромождение не дает конкретности, полноты бытия*. Кристалл — уже более полное бытие, хотя в пространстве и времени он может быть очень невелик и недолг. Цветок, увядающий через несколько часов, более полон бытия, чем кристалл, существующий миллионы лет. Бытие человека полнее бытия вековых дубов; бытие души полнее, чем практическое бытие двуногого животного, производящего средства производства.

Виктор. Однако достаточно приблизить аристократа природы, человека, к плебейскому солнцу, — и мокрого места не останется. И если солнце мыслило бы, оно, вероятно, за миллиарды лет своего существования даже не заметило бы утонченные натуры, развившиеся на поверхности одной из его маленьких планет.

Николай. Не говори. Человечество только начинает завоевывать космос. При нынешнем темпе развития техники вполне возможно, что Юпитер будет взорван, подбуксирован в сравнительно осве-

* Мысль Н. И. Бухарина, поразившая меня еще в детстве. Я узнал о ней из газет.

щенную зону между Марсом и Венерой и здесь организован в несколько планет, удобных для человеческой жизни. Атмосфера Марса и Венеры еще раньше будет реконструирована с помощью каких-нибудь бактерий; на Луне, при незначительном притяжении, будут устраиваться танцы, а со временем там вырастет изящная раса, сравнительно с которой мы будем выглядеть бегемотами. Меня не удивила бы даже мысль об управлении движением галактики.

Евгений. Не знаю, как насчет Юпитера, но Землю мы, возможно, взорвем. И тогда Солнышко нас заметит. Разум, так сказать, восторжествует над косной материей.

Николай. Как практически пойдут дела, я не знаю.

Виктор. Какое это имеет значение с точки зрения вечности?

Николай. С точки зрения вечности, — никакого. Но я вовсе не стою на ней, во всяком случае, в таком смысле, как вы думаете. Я пытаюсь развенчать придуманную бесконечность пространства и времени. Я знаю не хуже вас, что пространственно-временные отношения выставляют человека и всю его культуру чем-то вроде плесени на одной из маленьких планет. Я знаю, что совершенно вырваться из клетки пространства-времени мы не можем, даже если научимся свободно двигаться и хозяйничать в ней, выйдем из той клетки в клетку, которая ограничивает нас сейчас. Но это означает только, что пространственно-временные отношения в целом абстрактны, ограничены, отражают подлинное бытие не больше, чем тени на стене Платоновой пещеры. Только в напряженной душевной жизни человек прикасается к бытию, которого нигде

нет, но к которому стремится всё существующее. Только человек — и никто, кроме него. Только одухотворенное есть, только сфера духа, вырастающая в человеческой душе, — это область, в которой природа вырывается из своего унылого однообразия абстрактных отношений к бесконечному богатству качеств, к бесконечной полноте структур. Можно сказать, что природа — это рассеченный, разбросанный отдельными чертами человек, а человек — это сжатая в кулак природа, это Бог-Сын, который в земном существовании представляет собой образ и подобие Бога-Отца (если вы позволите мне воспользоваться этими выразительными метафорами).

Виктор. Помилуй, галактики складываются из атомов, не дошедших сплошь и рядом даже до связи с молекулой. Очаги усложнения, «космоса», «порядка из порядка» — до кристаллов, до жизни, до человека — это всего-навсего флюктуации царства элементарных форм. Эти флюктуации естественны — ни одна тенденция в природе не осуществляется без исключений...

Николай. Хаос не был бы хаосом, если бы его хаотичность не знала исключений: тогда это был бы порядок...

Виктор. Но ты возводишь исключение в правило! Как ни привлекателен, ни богат красками оазис, но он не показывает нам лица пустыни!

Николай. Тебе это кажется потому, что ты ставишь знак равенства между существованием оазиса и пустыни, не замечаешь разницы в интенсивности бытия. Ты сопоставляешь не бытие с бытием, а равновеликие клетки в пространственно-временной сетке. Человек выражает собой вселенную — так же, как Лев Толстой выразил дух рус-

ского народа, хотя остальные 99.999.999 мужиков, помещиков, чиновников, купцов не были Львами Толстыми.* По интенсивности, полноте, многообразию бытия. Только непосредственно многообразное дает представление о бесконечном, — если, конечно, не сводить его к одной количественной абстрактной бесконечности, а понять как бесконечность качеств. Вред всех физических моделей мира в том, что вне специальных рамок физики, во всеобщей связи, они ложны, качественно оконечивая картину мира. Либо бесконечность, вселенную не следует себе никак представлять, либо представлять в качественном бесконечном человеческом образе, как его рисует искусство.

Виктор. Например, в виде «Дамы с веером» Пикассо.

Николай. Я имею в виду религиозное искусство, каким бы оно ни было по своим приемам, — искусство, которое стремится выразить максимум напряжения душевных сил, порыв к Абсолюту. Я понимаю, что образы искусства метафоричны, но лучших нет. Качественно конечные модели еще дальше от действительности.

Только поэтическое знание — это полноценное знание, мудрость. Только оно ведет к моральным выводам. Физическая картина мира не дает стимула к жизни, не дает меры добра и зла. Это — абстрактная модель, созданная абстрактной наукой для ее абстрактных нужд. Она может руководить только действиями инженера. Но что строить? Как? И, главное, для чего?

Поэтическое знание восстанавливает «незыблемую

*) Перефраз Гейне:... остальные 29.999.999 немцев пороку не выдумали.

скалу» ценностей — самую важную координату бытия, которую мы потеряли, увлекшись сетками трех и многомерных пространств. Для поэтического знания ясно, что душа есть, и больше есть, чем тело, хотя она есть только в живом теле и умирает вместе с ним. Но она больше тела, она может быть бесконечно велика и может пожертвовать своей локализацией в пространстве и времени во имя высших потребностей духа, для которых все земное — не этот дым, скользящий в вышине, но тень, бегущая от дыма.

Виктор. Я люблюсь тем, как инерция заводит мысль к отрицанию ее посылок. Ты обещал дать стимул жизни — и даешь стимул смерти.

Николай. Нет! Человек не может быть самым собой без решимости к жертве, но это не значит, что он должен стремиться к гибели. Полнота человеческого бытия это — полнота возможностей, сил. Только в искусстве они могут быть выражены, не исключая друг друга. В практической жизни выбор ограничен. Жизнь дается один раз, — и ее приходится беречь, не делать ее ставкой в первой попавшейся игре. Но в какой-то игре приходится ставить ва-банк. Бессмертие тела не может быть выбрано — его нет в пространстве и времени. Человек может только выбрать, ради чего и как он умрет, и твердо идти по дороге, которая ведет его к костру или к кончине

посреди детей,
плаксивых баб и врачей.

Презирать экстенсивность жизни в пространстве и времени — не значит презирать интенсивность жизни. Напротив. Премудрый пескарь не может быть эталоном бытия.

Виктор. Словом:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Надо идти навстречу смерти, чтобы полнее жить. Не знаю, мудро ли это. Спиноза говорил, что мудрый думает о жизни. Во всяком случае, твоя философия как-то неудобна.

Николай. Уютно живет страус, засунув голову в песок. И больше всего ценят уют мещане.

Виктор. А заглядывают в бездны и испытывают звездный ужас — психопаты. Ты сам назвал одно из произведений, вдохновивших тебя, — «Записки сумасшедшего». Не приходил ли к тебе в минуты твоих озарений «черный монах»?

Николай. Я думаю, что черный монах — не такой уж плохой гость. Он приходил даже к ясному, далекому от всякой мистики Чехову. А Гофману черный монах, вероятно, продиктовал — большую часть его рассказов.

Я думаю, что не надо бояться черного монаха. В безумии есть своя мудрость. Назовем ее — мудростью вдохновения.

Виктор. То есть гений — это безумие?

Николай. Нет. Гамлет должен иногда беседовать с призраком. Нельзя оставить человеку только день и отнять ночь с ее «страхами и мглами». Между безумием клинического сумасшествия и рассудительностью мещанина есть ничейная зона, в которой и создается культура. Эта зона иногда шире, и можно долго не выходить из нее. Тогда говорят о здо-

ровой культуре античности, Возрождения. А иногда эта зона узка, как лезвие ножа. И Гёте оступает в мещанство, Ван-Гог — в безумие. Не знаю, что хуже. Но несколько шагов в ту или другую сторону можно сделать, не скатываясь вниз.

Виктор. Можно, но нужно ли?

Николай. Впечатление «звездного ужаса» — может быть, сильнейший толчок от рыбьего существования к бытию. Я мог бы определить человека как существо, способное испытывать и преодолевать звездный ужас. Вся человеческая культура — попытка преодолеть звездный ужас.

Евгений. А куда девалась потребность есть, пить и одеваться?

Николай. В ней нет ничего специфически человеческого (кроме одежды; но некоторые человеческие племена не одеваются). Создавая культуру, человек попутно не может не заботиться о том, чтобы есть и пить, и формы удовлетворения этой потребности связаны с формами культуры. И все-таки культура начинается там, где потребность есть и пить перестает быть первичным, и кончается, когда эта потребность торжествует. Это — первое. И второе, не менее важное: человек не может удовлетворить потребность есть и пить, разрушая культуру. Общество невозможно без культуры, без святынь, идеалов, ценностей. Не единым хлебом сыт человек. И если не насыщен духовный голод, нет пользы в млеке и меде. Их разольют и растопчут.

Виктор. Это надо доказать.

Николай. Разве это не доказано? Или тебе нужен решающий эксперимент — термоядерная война? Я надеюсь, что люди поверят в то, во что я верю, без доказательств.

Евгений. Я всё время думаю, как определить ваш образ мысли; это не наука, и не поэзия тоже...

Николай Я уже сказал: это — попытка переживать абстракции и, таким образом, освобождаться от них.

1953-1959

ДВЕ МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ

0. 1. Есть две модели познания.* Дети называют их «как будто» («понарошку») и «в самом деле» («взаправду»). Слова «как будто» — уступка взрослым. «Как будто» — для ребенка не менее истинное, чем «в самом деле». В мире «как будто», играя, он входит в ритм жизни и становится маленьким чудотворцем: превращает воду в вино, палку — в лошадку, щепку — в летучего голландца. В этом мире он всемогущ, всеведущ и всеблаг. Подобно Вишну он воплощается каждый раз в того самого героя, который необходим для спасения человечества, и совершает великие подвиги. Модель «в самом деле» играет в жизни ребенка скорее служебную, вспомогательную роль: она дает знание, как, в самом деле, доехать до зоопарка (а не только сыграть в зверей); но желание попасть в зоопарк возникло в мире «как будто».

Каждое открытие в мире предметов, в мире, который «в самом деле», становится для ребенка новым материалом для игры. Нет еще рассудочного деления на субъект и объект, оторванные друг от друга и безразличные друг к другу. Ребенок стихийно чувствует, что всё в мире имеет отношение к его собственной сущности. И у него не возникает роковой вопрос ленивых и нелюбопытных взрослых — зачем мне это знать?

* Этот эссе первоначально был написан как часть научно-популярной статьи. Потом, почувствовав совершенную невозможность напечатать такое, я его выделил и прибавил «нулевой» раздел.

Иногда ребенок путается. Например, четырехлетний мальчик мечтательно сказал в середине зимы: «А на даче теперь лето!» В таких случаях взрослые поправляют его. Если они это делают грубо и неумело и если ребенок недостаточно решительно и ловко защищает свое царство, рушится волшебный мир «как будто» и вырастает очень скучный, несчастный человек. Ему точно известно, как доехать до Киева, но совершенно неясно, зачем ехать. Он потерял умение желать (разве только есть, пить и одеваться). Остается делать то, что люди делают.

0. 2. Есть своеобразные взрослые, для которых область «как будто» совпадает со сном. Во сне предметы теряют определенность, становятся волнами, переливающимися друг в друга. Эта неустойчивость приводит к нелепой и смешной путанице, но она же раскрывает тайны, которых не увидишь в застывших вещах.

В танце предметов-теней, предметов-волн исчезает обособленность, выделенность из мирового целого. Сон раскрывает не только страхи и желания, не только мелкие тайники подсознания, запертые дневными табу, и древние инстинкты коллективного бессознательного. Сон стирает рассудочные грани между предметами, сбрасывает условную сетку, которую рассудок накидывает на мир. Освобождается стихия, становится слышным ритм мирового целого:

Настала ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее. Он нудит нас и просит...

Есть люди (редкие, впрочем), которые именно во сне узнали самое важное, что им удалось сказать (днем их, по-видимому, связывал слишком негибкий рассудок):

В постель иду, как к ложу,
Затем, чтоб видеть сны...

Для них сон — главная, самая насыщенная часть суток, бесконечно богатая впечатлениями, часто более значительными, чем дневная жизнь. Я знал женщину, которая во сне пережила свой самый поэтический роман. Несколько раз она говорила мне: «Нет ничего лучше сбывшихся снов. Ты понимаешь, что нет ничего лучшего сбывшихся снов?»

0. 3. Первую модель можно назвать дневной (или солнечной), а вторую — ночной (или лунной). Ночью небо сливается с морем и стеной подходит к берегу, и вся эта звездная стена плещется у ног. Днем хорошо виден каждый камешек, но за подробностями, за деталями, за деревьями исчезает лес. День — ювелир, чеканщик деталей, ночь — художник, пишущий крупными мазками. Я не думаю, что живописец хуже ювелира видит действительность, какая она есть. Два виденья, дневное и ночное, дополняют друг друга, оба они истинны.

1. Человеческое сознание с первых своих шагов создает и разрабатывает обе основные модели мира:

а) мир как текучее переливчатое целое, охваченное единым ритмом (дао, «вечно живой огонь»);

б) мир как совокупность атомарных фактов, жестоко расчлененных и затем связанных более или менее точно фиксированными отношениями (равенство и неравенство, причинность и вероятность, и т. д.).

2. Первая модель создается из слов или знаков, каждый из которых вызывает бесконечный поток ассоциаций; это слова-образы, тропы (метафоры). Вторая модель конструируется из однозначных слов,

из знаков строго определенного смысла. Это слова-термины.

3. Образы — (многозначные слова) естественно сплетаются своими ассоциативными «полями», образуя более сложные образные сочетания. Термины строго связываются и разделяются по законам логики и математики (начавшими складываться гораздо раньше, чем родился Аристотель и Эвклид).

4. Эти модели не вполне совпадают с областью искусства и науки. Любая конкретная форма мышления не укладывается в рамки строгой логичности или строгой ассоциативности.

4. 1. Образное мышление можно отметить у многих ученых, например, у Маркса. Сравнение греков с детьми, конечно, нельзя назвать логическим определением. Но Маркс, как мне кажется, следовал верному чутью, подсказавшему, что предмет рассуждения иногда требует перехода со строгого языка терминов на текучий язык уподоблений, метафор.

4. 2. С другой стороны, только некоторые крайние течения в искусстве пытаются поставить знак равенства между поэтическим и иррациональным. Классическое искусство никогда не боялось использовать рассудочно осознанные формы. (Канон человеческого тела в скульптуре, ордер в архитектуре.) Ритм музыки не совпадает с тактом метронома, но вьется вокруг него, как лиана вокруг ствола. Размер, рифма и строфика в классическом стихотворении как бы расшивают канву — рассудочно определенную схему. И Пушкин в «Вакхической песне» ставит рядом, не чувствуя здесь никакого противоречия:

Да здравствуют музы, да здравствует разум.
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

«Ум» здесь — сверхсознание, которое охватывает и логическое и поэтически-ассоциативное познание действительности (я не утверждаю, что Пушкин это сказал; но мне кажется, что он это почувствовал и поэтически выразил).

4. 3. Однако можно сказать, что в науке господствует тенденция к слову-термину и строгой логике связей, а в искусстве — к слову-образу и свободной ассоциации образов. С известными оговорками модель А может быть названа поэтической, модель Б — научной.

5. Ученый, который игнорирует или преобразует факт, не лежащий в его схеме, — плохой ученый. Достаточно было одного опыта Майкельсона, чтобы переоценить всю классическую физику. Напротив, плох тот художник, который не умеет игнорировать или деформировать факт, не укладывающийся в картину (мы называем его обычно «бескрылым натуралистом»). История искусства — это, между прочим, история условностей, которые вводятся как раз с этой целью — не допускать или переделывать неуклюжие факты. Греческий скульптор скрывает или отбрасывает физически уродливое: Перикл, у которого была шишка на голове, изображается в шлеме, а голова Августа усаживается на торс гладиатора. Рембрандт, для которо-

го красота — это одухотворенность, терпимо относится к уродливому, старческому или больному телу; зато он погружает все лишние предметы во тьму и выхватывает из нее причудливо упавшим светом только то, что ему важно: лицо, руки.

Истина, которую несет искусство, — это не истина об отдельных фактах (или определенных связях между фактами), а ритм целого, «музыка сфер», как говорили греки, ритм, схваченный образным мышлением в движении эстетически выразительных предметов (предметное искусство) или условных элементов отвлеченной выразительной системы (музыка, архитектура): что бы художник ни рисовал, подлинный предмет картины — бытие целого, полнота бытия, качественно бесконечное, отразившееся в предмете (или условной конструкции), как солнце в капельке воды. Эта истина «полисемична», многозначна, текуча, переливчата по самой своей природе, и в застывших терминах ее просто невозможно было бы высказать. Художник может «не пользоваться метафорами», но на самый предмет, который на первый взгляд составляет содержание картины, для него только метафора, иносказание, намек на невысказанную тайну.

5. 1. Такие искусства, как музыка и архитектура, не несут никакой информации об отдельных предметах. Это не мешает музыке быть одним из самых «серьезных» искусств; без причастности к нему древние греки и китайцы не представляли себе цивилизованного человека, не представляли себе нравственности. Такого же мнения был (судя по словам Лоренцо, «Венецианский купец») и Шекспир.

Живопись и особенно поэзия, делая свое дело, попутно могут рассказать довольно много о фактах; но сравнительно с главной истиной, которую несет

человеку искусство, эти сообщения не очень важны: можно обойтись и без них.

6. В древней философии обе модели выступают как различные системы, учения: с одной стороны, поэтический парадоксализм Гераклита и Лао-цзы; с другой, — рассудочные конструкции (атомизм, формальная логика: характерно, что в Индии логики и атомисты слились в одну школу — Ньяя-Вайшешика). Первая модель, в общем, заметнее в древнейшей философии: впоследствии побеждает вторая. Почти в каждом сравнении бросается в глаза диалектичность, текучесть мысли древних и строгость (и сухость) новых философов.

И в рамках самой древности можно выделить два этапа: Гераклита — и Демокрита, Лао-цзы — и Хань Фэя. Однако, строго говоря, никакого гераклитовского этапа не было. Гераклит и Лао-цзы были аутсайдерами, восставшими против еще не вполне сложившейся, но уже достаточно сильной и ощутимой рационалистической тенденции. Это были попытки свернуть философию с пути, по которому она шла — от Фалеса к Аристотелю и от Конфуция к Сунь-цзы. Сама форма мысли Гераклита или Лао-цзы полемична и предлагает предмет полемики — философию здравого смысла. Характерные приемы Гераклита и Лао-цзы — отказ от положительного определения или внутренне противоречивое определение, сознательное «шиворот-навыворот» здравого смысла. Даже в подчеркнутом обращении к древнейшим формам (метафоре и сравнению) чувствуется протест против засилия логики, логического равенства. (Впоследствии все эти четыре приема были подхвачены мистиками и использовались, чтобы подвести слушателя к внутреннему переживанию истины, невыразимой словом). Таким

образом, обе модели все время существуют рядом друг с другом, ни одну из них нельзя назвать старшей; ни одну из них нельзя совершенно упразднить. То одна, то другая «берет верх», оказывается (относительно) влиятельнее, активней.

6. 3. Древнейшие философы не отдавали себе ясного отчета в характере (и ограниченности) каждой из моделей познания, которые они разрабатывали. Эта гносеологическая наивность (гносеология была развита уже на последующем этапе) сближает их с мифологическим или, если говорить шире, с синкретическим сознанием. Синкретическое сознание, с его стихийными переходами от одной модели познания мира к другой и господством поэзии над наукой, было естественно сложившейся почвой, на которой древняя философия выросла и которую она не смогла преодолеть.

7. Должно быть ясно понято, что обе модели мышления упрощают действительность. Образно-ассоциативное мышление отражает мир в одном аспекте, атомарно-логическое — в другом. Мир не создан художником; но он не создан и техником-конструктором. В механически-рассудочной картине действительности, развитой естествознанием, воображение древнего поэта устраниено, но его заменило схематическое воображение геометра или механика. Это не было безусловным завоеванием. Как бы ни совершенствовалась механика (релятивистская и квантовая), она остается чем-то безгранично более бедным, схематичным, чем движение реальности. Это не очень мешает при познании неживой природы, потому что индивидуальные особенности ритма атомов и электронов нам довольно безразличны; для практического контроля достаточно

схематических представлений, удобных при математических расчетах. Но механическая концепция действительности обрушивается на нас всей своей тяжестью, как только мы пытаемся с ее помощью познать живое, познать самих себя.

8. Современная наука совершила великое открытие, экспериментально установив корпускулярно-волновой (следовательно, нелогичный с атомарной точки зрения) характер элементарных частиц. Однако это открытие до сих пор не осознано в методологии науки, и единство корпускулярных и волновых свойств рассматривается большинством физиков как неприятный парадокс. Двойственное, текучее и переливчатое нельзя сосчитать, а без математики наука теряет свою форму. Точное знание связано с известной условностью: со сведением переливчатого к ясно и отчетливо разложенному на элементы. Но эту особенность модели, необходимую для точных наук, нельзя смешивать с объективной реальностью.

Волны, с которыми имеют дело физики в своих расчетах — это не реальные волны, а математические схемы, так же, как частицы в расчетах — не индивидуумы, а усредненные точки. Реальный ритм действительности — это движение бесконечно разнообразных воплощений мирового целого, переливающихся друг в друга. В некоторых случаях мы можем отвлечься от него, упростить его и мысленно подменить ритм — механическим тактом, стихию — решеткой из обособленных частиц. Например, созерцая море, мы любуемся им именно потому, что волны бесконечно разнообразны. Но, изучая влияние моря на сваи пристани, мы отвлекаемся от неуловимой реальной волны и заменяем ее схемой, удобной для расчетов. Было бы, однако, величай-

шей неправдой считать, что законы механики — не только один аспект действительности (схематически развитый), а отражение всей полноты мира, отражение сущности действительности. Такой вульгарный механизм невыносим для всякого сколько-нибудь развитого человека. Лев Толстой хорошо описал это в «Анне Карениной» и в «Записках сумасшедшего». Он глубоко чувствовал здесь великую ложь. И, не умея понять ее, проклинал науку, которая заменила «теплую одежду» души «нарядом из кисеи», обрекла человека на мучительный душевный холод.

Механический материализм всегда и всюду вызывал романтическую реакцию. Даже если согласиться, что религия — опиум, «духовная сивуха», —

Лучше уж от водки помереть,
Чем от скуки.

9. Каждый реальный, нематематизированный предмет находится в двояких отношениях с миром.

9. 1. Как атомарный факт он оторван, отчужден от целого и находится в связях только с такими же, как он, атомарными фактами. (Целого, с этой точки зрения, первоначально нет: оно вторично и складывается из фактов). Отношения фактов друг к другу познаются по законам формальной логики и математики, в рамках отношений причинности и взаимодействия. В конечном счете взаимодействие атомарных фактов подчиняется более или менее сложной механике. Господствует более или менее строгая механическая необходимость, которую рафинированное научное сознание дополняет признанием случайностей, отклонений, «флуктуаций». Это делает механическую схему менее жесткой, дает

возможность лучше подогнать ее к действительности, но ничего не меняет по существу (и в отношении к человеку). Существо причинной картины мира не допускает никакой свободы. «Истинная свобода лежит по ту сторону материальной необходимости» (Маркс). Всякая свобода в рамках системы атомарных фактов более или менее иллюзорна. Такой честный мыслитель, как Спиноза, выразил это прямо и откровенно: «и камень, брошенный из пращи, имея сознание, воображал бы, что движется свободно».

9. 2. Но каждый предмет — не только корпускула. Он может быть мыслим и как волна беспредельного целого, «волновой пакет» (как Шрёдингер предлагал когда-то мыслить электрон). Каждый предмет — центр поля, границы которого не могут быть рассудочно определены. Это поле сливается со всеми другими полями вселенной. Каждый предмет — индивидуальное проявление бытия целого (которое только одно есть!), конечное проявление бесконечного, волна, лижущая берег (с этой стороны она ясно ограничена), но уходящая, сливаясь с другими, «в никуда». В таких узлах бытия, как живое существо, как человек, присутствие бесконечного особенно ощутимо.

9. 3. В результате всё реальное не вполне определено своими связями с другими атомарными фактами. Сливаясь с целым, оно ускользает от их влияния. Вот почему всё реальное, естественное, так нестандартно. Нет двух одинаковых берез, одинаковых листьев березы. Сходство более или менее определено программой, но только более или менее. Механическая необходимость атомарных связей затопляется бытием целого, и в осуществление за-

конов механики вкрадывается «волшебная ошибка» — свобода.

9. 3. 1. Выражение «волшебная ошибка» принадлежит художнику Серову. Работая над портретом, он сперва механически срисовывал оригинал, а потом стирал сделанное (иногда вполне удовлетворявшее заказчика!) и рисовал заново — уже с «волшебной ошибкой». Эта «ошибка», этот сдвиг атомарных фактов и атомарных отношений помогал ему выявить в них и за ними дыхание целого, ритм бытия, присутствие бесконечного. В результате возникало что-то более истинное, чем фотография (фактография).

9. 3. 2. Я позволю себе воспользоваться метафорой Серова и сказать, что закон «волшебных ошибок» — это самый глубокий закон бытия. Ритм действительности (как и ритм в искусстве) основан на повторении подобного, а не одинакового (Клагес). Волны моря, листья березы и строки хорошей поэмы бесконечно варьируют свою программу. Поэтому они никогда не надоедают. Во вселенной, по-видимому, существуют две уравнивающие друг друга тенденции: к однообразию, энтропии, — и к возрастающему многообразию, к качественной бесконечности. Вторая тенденция отчетливо выступает в живом и еще отчетливее — в музыкальном. Парадокс о тепловой смерти вселенной (которому противоречит факт наличия вселенной), по-видимому, показывает, что вторая тенденция неуловима для математически мыслящей науки, и мы способны познать ее скорее средствами искусства.

9. 4. Подчиняясь механическому такту (конвейера или газетной статьи), человек чувствует себя угнетенным и поработанным. Подхваченный живым

ритмом, человек чувствует себя свободным. Я думаю, что чувства не обманывают его.

В той мере, в которой человек сливается с целым, становится его воплощением, узлом его бытия, — он свободен; ибо не остается ничего вне его, что могло бы его определить, ограничить.

В той мере, в которой человек обособляется от целого вселенной, становится замкнутым в себе атомом, он подчиняется закону, управляющему движением атомов: «угол падения равен углу отражения».* Свобода для него — иллюзия, клок сена перед ослом. Чем больше он обособляется от других в поисках независимости, тем больше он теряет внутреннюю полноту жизни, и существование его становится зависимым от мельчайших булавочных уколов впечатлений. В конце концов он погружается в полную пустоту, и вечность (формальная свобода) мерещится ему как предбанник с пауками в углу. Достоевский хорошо показал это в Свидригайлове и Ставрогине.

10. 1. Как соотносятся друг с другом атомарная и переливчатая модели мира, видно также из анализа языка. В нашем разговорном языке слова и связи между словами до сих пор сохранили «неточность», многозначительность, переливчатость. Правда, эти свойства языка сильно потускнели в ежедневной прессе, во всякого рода ведомственных изданиях и т. п. Чтобы оживить образность языка, поэтам приходится иногда нарочито коверкать, взламывать языковые штампы. И всё же язык «простых людей» остается живым, «неправильным». Чтобы превратить его в язык точных терминов, понадобилось бы решительно перестроить его: исклю-

* Скрытая цитата из статьи О. Мандельштама.

читать все синонимы и омонимы, антонимы — упростить. Например, в живой речи «умному» противостоит не «безумный», а «дурак». Но дурак — слово с самостоятельным значением, довольно сложным. В некоторой своей части оно противостоит не уму, а рассудочности, и приобретает положительный оттенок. Иванушка-дурачок стихийно умнее своих умных (рассудительных, рассудочных) братьев. Возможно, под влиянием сказки уменьшительная форма — дурачок — приобрела ласкательный смысл. Уменьшительная форма от слова идиот — идиотик — такого смысла не имеет; скорее она вносит оттенок презрения. Благодаря подобным неправильностям, живая речь — бесконечно переливчатая модель, хорошо передающая бесконечную переливчатость мира.

Строго организованный язык терминов строился бы по двоичной системе: добро — антидобро; ученый — антиученый. Разумеется, «цветы зла» на этом языке никогда не были бы написаны. Такой язык был бы очень удобен для программирования счетных машин. Но все переходы, не поддающиеся точной фиксации, на нем были бы невыразимы. Что-то очень важное для человеческой культуры, быть может, самое важное, было бы утрачено. Мы сохранили бы только выбор между «дураком» и «антидураком». Но антидурак — тот же дурак, только с обратным знаком.

10. 2. Проблемы языка вплотную подводят к проблеме ценностей, потому что ценность — это сущность культуры, получившая выражение в каком-то языке, ставшая словом, знаком (системой слов и знаков).

Язык терминов останавливается на пороге сферы ценностей, не в силах проникнуть в нее, овладеть ею. Особенность ценностей как раз в том, что они

не являются атомарными фактами, что их можно понять только как переливающиеся друг в друга аспекты единой сферы, «центр которой всюду, а периферия нигде» (Николай Кузанский). Атомарную модель мира можно сравнить с машиной, состоящей из отдельных частей, каждую из которых можно вытаскивать поодиночке, чистить и смазывать. А модель сферы ценностей — с живым организмом, члены которого нельзя разъять, не превратив целого в труп. Так же неотделимы друг от друга истина, добро, красота, любовь, свобода. Уничтожьте переливы между ними, — и вы уничтожите их самих. Всё, как будто, останется на месте, но исчезнет живое целое, исчезнет суть и смысл, стягивание аспектов в замкнутые фигуры образует вокруг них пустоту, и в этой пустоте всё в конце концов тонет. Слово в этой пустоте мечется, как демокритовский атом, подчиняясь логическим законам инерции, сталкиваясь с другими словами только для того, чтобы тут же отскочить от них, и весь этот хаос неудержимо логически движется к совершенному распаду, к утрате всяких связей, всякого общего смысла, к смешению языков, к абсурду.

10. 3. В живом языке хороший стилист, пользуясь синонимами и омонимами, избегает механического повторения одних и тех же слов и конструкций, варьирует логические схемы и передает, таким образом, нечто более важное, чем непосредственно заданный смысл фразы, — ритм целого. В результате он может высказать и высказывает нечто большее, чем предполагал, нечто неожиданное для самого себя, нечто настолько богатое смыслом, что несколько поколений находят в нем всё новые и новые оттенки. «Перо гения умнее его самого». Это относится не только к гению, но ко всякому жи-

вому уму. Или, перефразируя догмат о том, что каждый человек обладает природой Будды, каждый живой ум обладает природой гения (хотя не в равной степени сознает это).

Фраза хорошего стилиста — как бы живая ветвь, набухающая множеством новых побегов. Иногда они оказываются важнее первоначально намеченной конструкции и переживают ее, как молодые побеги, выросшие вокруг старого пня. Напротив, фраза строго терминологического языка — это ствол, очищенный от веток и листьев, бревно, палка. Она несет то, что ей положено, — и ничего больше. Когда она сгнивает — остается только труха.

Искусство на этом языке невозможно, философия сводится к анализу синтаксических конструкций. Можно отчетливо выразить то, что автор совершенно отчетливо осознал, но никак нельзя передать смутно угаданного, предчувствованного, еще не нашедшего своей пригодной для программирования формы (насколько она вообще возможна). Человеческое мышление лишается своего поля, своей почвы. Оно перестает быть человеческим мышлением, превращается в разговор роботов.

Тенденция переоценивать роль терминологического мышления — характерная черта промышленной цивилизации (современного буржуазного общества). Буржуазное общество вообще склонно превращать работника в придаток к машине. Работник нашего времени, ученый, превращается в придаток к счетной машине, а его язык — в жаргон роботов (на языке Карнапа суждение «Сикстинская мадонна прекрасна» не имеет смысла и рассматривается как эмоциональный всхлип, как ложно выраженное междометие).

Следствие этого — деградация культуры, «фрустрация» (неудовлетворенность, заброшенность, одиночество), рост детской и юношеской преступности (стихийный протест против внутренней пустоты признанных ценностей), болезненно сформированная эротика, наркомания.

Рационализм науки и техники дополняется иррационализмом культуры, нарастающим чувством абсурдности бытия; вульгарный материализм на одном полюсе гальванизирует вульгарный фидеизм на другом.

10. 4. Из этого вовсе не следует, что не надо разрабатывать язык роботов. На своем месте он так же хорош, как военная команда. Математическая лингвистика разрабатывает уставы для будущих электронных армий. Это очень хорошее дело. Терминологический жаргон дает возможность быстро и аккуратно найти средства к достижению ясно определенной цели. Надо только помнить, что он не дает *ничего* для действий, в которых цель вырастет в самом процессе действия, где «даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал...»

11. Подведем черту. Есть две модели познания мира, переливчатая и атомарная, поэтическая и научная. Обе модели имеют свои особенности, свои преимущества и недостатки, свои «условности», искажения «объективной реальности». Чтобы не быть обманутым этими условностями, надо ясно отдать себе в них отчет. Надо понять, что всё высказанное ограничено формой высказывания (т. е. моделью А или моделью Б или каким-либо сочетанием, которое никогда не может быть вполне совершенным). То, что поэзия — не совсем правда, это все понимают. Надо, однако, понять, что точность точных

наук тоже искажает действительность (разлагая ее на атомы и пустоту), тоже основана на условном форсировании одного аспекта взамен всех остальных. Строго говоря, совершенная мудрость может быть выражена только молчанием; об этом хорошо сказал Джордано Бруно: «Бога можно почитать только молчанием». Аналогичную формулу дал недавно Витгенштейн: «О чем нельзя сказать ясно, надо молчать».

Однако человеческий разум вполне способен различать то, что высказано, ясно разбираться в особенностях обеих моделей и пытаться более или менее удачно сочетать их (а не путать, стихийно перескакивая от одной к другой). К этому человечество сейчас подходит, пробиваясь через мифологию и магию, догматику и метафизику, философию здравого смысла и философию абсурда.

Визионеры прошлого придавали характер существования образам и понятиям, возникавшим в душе, прислушивающейся к бытию. Иначе сказать, — они превращали эти образы и понятия в своего рода материю, только сортом повыше, чем обычная, осязаемая глазами и ушами. Между тем все плоды внутреннего созерцания — только поплавки, теряющие смысл, если вынуть их из воды. Это только имена, названия для того, что не может быть названо, для целого, превосходящего все слова. Тот, кто этого не понял, обречен на труд Сизифа: создавать идолов, чтобы потом разрушить, и разрушать, чтобы восстанавливать их из обломков (иногда чуть-чуть лучше, чем прежде, а иногда и хуже).

Здравомыслящие люди, показывая на визионеров пальцами, делали другую ошибку: выплескивали из ванны, вместе с грязной водой, и ребенка, вместе с фантастическими образами, передававшими

ми ощущение бытия, — само это ощущение, оставались при фактах, при частностях, теряли живое дыхание целого.

Первая ошибка очень усложнила, запутала жизнь. Вторая — делает жизнь совершенно невозможной.

Март-сентябрь 1962

ТРИ УРОВНЯ БЫТИЯ

Я различаю в себе три уровня бытия. Это не значит, что их нельзя насчитать больше. Есть лестница, есть верх и низ, есть подъем — «есть ценностей незыблемая скала». Незыблемость ее в том, что она есть, и только. Число и форма ступенек зыблемы до бесконечности. Три можно свести к двум (тогда останется целое и атом — как я описал это в «Двух моделях познания»); можно учесть нулевой уровень, уровень бесформенности, аморфности, мещанского быта, не дошедшего до бытия. С нулевого уровня, при взгляде снизу, все небеса сливаются в одно небо, дальние галактики смотрятся как простые звездочки, почти незаметные рядом с другими, крупными звездами, а самыми большими, значительными и важными кажутся планеты, потому что они — ближе. И можно представить себе на третьем уровне новые различия. Отчасти я буду об этом говорить в конце, но сейчас пишу о другом: о том, что уже совсем сложилось во мне, что стало мной.

Первая ступень — это уровень особи. Вы чувствуете и осознаете себя как предмет, окруженный другими такими же изолированными предметами. Всё, что вне вашего тела (и тесно связанного с ним пространства), не слишком затрагивает вашу душу.

Этот эссе был написан сразу же после «Двух моделей» из внутреннего протеста против чрезмерного сдвига к рационализму. С ходу я не справился с «третьим уровнем» и в 1964 году его переделал.

«Миру ли провалиться или мне чай не пить? Я скажу, чтобы мир провалился, а мне чай всегда пить».

Против этой крайности восстает здравый смысл. Если мир провалится, то и чаю не напьешься. Индивидуалист совершенно необязательно глуп (или так раздражен, что рассуждать неспособен). Он может быть рассудительным, и в меру своей рассудительности — социальным. На уровне особи может быть построена мораль (разумного эгоизма). Можно пойти дальше — усовершенствовать эту мораль, ввести в нее моменты игры. Можно рассудить, что стоит авансировать своих знакомых (посимпатичнее) хорошим отношением к ним, не требуя ничего взамен, рассчитывая на то, что жизнь в конце концов заплатит. По большей части так и бывает: авансы создают друзей, и это само по себе стоит гораздо большего, чем все банальные выгоды. Если дружеский кружок охватывает и мужчин и женщин, отношения между ними иногда становятся нежными... Вспыхивают и гаснут романы; какое-то время два атома чувствуют себя одной молекулой. Потом эта связь рвется, но взамен приходит другая, и так может идти вся жизнь — от огонька к огоньку.

На уровне особи может быть даже героизм. Вы принимаете известные правила, и если за проигрыш по этим правилам надо платить головой, вы платите. Не ради чего-нибудь, а просто из уважения к себе, просто потому, что это — ваша прихоть: играть по этим правилам, а не по другим.

Жизнь — игра. Хороший игрок не захлебывается успехом, не теряется от неудач. Он умеет проигрывать и может быть красивым в проигрыше. Голова его ясна, на губах улыбка, в сердце покой. Азарт, захлѐб, жизнь, поставленная на карту, до полной

гибели всерьез, — всё это тоже бывает, но здесь игра перестает быть игрой. Это — начало чего-то нового, может быть, высшего; сердце игрока рвется к нему, рассудок боится его. За упоением может прийти усталость, опустошенность, раздражительность. А если вы раздражены, если вы потеряли контроль над собой, то пиши пропало. Начинается полоса безнадежных проигрышей. И чем дальше, тем хуже. Преодолеть свои антипатии, свои комплексы, свои психозы и неврозы — трудно, часто невозможно. Не на что опереться, чтобы вырвать занозу. Нечем отвлечься от боли. Нет резервных позиций, на которых можно сосредоточиться. Приходится рвать с людьми (ставшими невыносимыми), переезжать в другое место, искать покоя в быстрой смене впечатлений, — словом, нужны условия и условия, чтобы быть здоровым. А если этих условий нет, вы стали калекой.

Отсюда (для менее сильных натур, стоящих, строго говоря, ниже первого уровня) ценность денег — «привратника внутреннего мира» (Зиммель), отсюда — борьба за обеспеченное существование, социальное положение, — хотя бы за счет других. Первый уровень — это уровень индивидуализма.

Вторая ступень* — это уровень рода. Вы принадлежите к роду, и смысл вашей жизни в том, чтобы был род. Вы не спрашиваете, почему это надо, как лосось не спрашивает, зачем ему пробиваться вверх по реке и метнуть там икру, — а если не хватит сил, разбиться о камни. Так надо.

В человеческом обществе безусловные рефлексy (или, как раньше говорили, инстинкты) с самого начала расшатаны. От этого — неустойчивость ро-

* Вторая — по пути к реальности. Исторически она, наоборот, первая.

дового начала, чувство заброшенности (с него, собственно, и начинается человек, даже самый первобытный). И первая культура, которую создал человек, это *родовая* (племенная) культура, основанная на *традиции*. В ней всё расставлено по местам, проверенным тысячелетним опытом, все прочно закреплено и огорожено табу. Традиция стала псевдоинстинктом человеческого рода. В строгих границах традиции человеческий дух впервые сознал себя и почувствовал свою силу.

Но переход к цивилизации снова всё разрушил. Индивидуум вырвался из рода и — оказался в пустоте. (Там, где появляется атом, появляется и пустота. См. «Две модели познания».) Жить в пустоте было страшно, иногда попросту невозможно. Пришлось создавать суррогаты родовых институтов; но законченный теплый мир племени нельзя было возродить (этот газон надо подстригать тысячи лет, а цивилизации всегда не хватает времени).

Пошли в ход скороспелые абстракции, нужные для того, чтобы при случае посадить вас на ежа; и вы садитесь с чувством исполненного долга, но без всякого энтузиазма. Действительное слияние с целым становится книжной добродетелью — выученным, официальным, недолговечным и смешным. Родовое сознание — в осколках. Родовое пытается доказать свою разумность (это всегда плохо получается), убедить по крайней мере в своей необходимости, но чем больше оно доказывает, тем меньше ему верят. Если верят, то только из страха пустоты. Сильные характеры никогда не мирятся с этим. Дух Прометея, исклеванный коршуном, отказывается от себя, но тотчас вновь восстает. Разум не может подчиниться тому, что сам он создал — своим теням.

Но родовое, отвергнутое разумом, возникает вновь как иррациональное, как прихоть, как причуда сердца. Полюбится сатана лучше ясного сокола. Полюбится Пиладу — Орест, Ромео — Джульетта, интербригадам — Испания. И всё разумное, рассчитанное летит к черту.

На первом уровне отношения между людьми не идут дальше интеллектуальной дружбы (при которой табачок врозь), флирта, романа (похожего на рыцарский поединок). Чувство собственного достоинства господствует над всем, и всё, что сталкивается с ним, будет принесено в жертву.

Уровень рода (в обществе, где род разрушен) — это уровень страстей. Они неожиданно связывают вас с одними и отделяют от других. Вы любите и ненавидите тех, кто любит иначе, вы ненавидите и любите тех, кто ненавидит вместе с вами. Господствующее чувство здесь — любовь к тому-то (или к чему-то) одному, на котором весь свет сходится клином. Смысл жизни — быть вместе с любимым. Чувство собственного достоинства, разум, долг — вообще все ценности, признанные трезвой особью, отступают на второй план. Разлука с любимым хуже смерти. Гибель любимого в тысячу раз хуже собственной смерти. Если любимого больше нет, — ничего нет. Небо раскалывается над головой и осколками падает на землю. Любимый — замок свода вселенной. Когда рухнул замок, своды не могут больше держаться. И то, что они всё-таки держатся, — несправедливо, нелепо, не нужно.

Первая ступень — это уровень Аполлона, освещенный яркими лучами разума. Предметы и отношения между ними самостоятельны и отчетливы, и они легко сознаются рассудком. $A = A$. А то, что не может быть освещено, что остается в тени, —

как бы не существует. Если даже оно очевидно, его надо отвергнуть, как Зенон отвергает движение, как Фарината, сжигаемый адским пламенем, всё равно отвергал ад.

Вторая ступень — это уровень Диониса, уровень безрассудства. Бессознательное, поставленное вне закона разумом, не признанное и не выраженное (как некогда оно выражалось в системе магических действий), вырывается неожиданно, стихийно. Вы сознаете, что рассудок осточертел вам и ретроградно пихаете его ногой. Разум признает себя простофилей и откровенно следует за чувством. А чувство взлетает и падает как придется. В своих падениях оно бросает вниз, к подпольному человеку, над которым *разумный* эгоист стоит безгранично высоко. Но в своих взлетах оно приподнимает над рассудочностью и переносит с земли на небо. Мадам де Реналь говорит Жюльену Сорелю: «Я испытываю к тебе то, что должна была испытывать к Богу: благоговение, любовь, страх». И она следует за Жюльеном так же, как Франциск Ассизский следовал за Христом.

Любя, открываешь в другом Бога. И с этим Богом становишься почти физически одним и тем же.

Если любимый не обманет, если он по крайней мере *попытается* стать тем, что ты в нем видишь; если он постарается приоткрыть в себе зеленую дверь, которую, может быть, и сам раньше не знал, — близость к нему становится мистическим опытом. Не нужно никаких других обрядов, кроме естественной нежности, прикосновения руки, взгляда, потому что все вещи — метафоры абсолютного; все действия, если они идут из глубины, — низводят небесную благодать.

Третья ступень — это уровень непостоянного це-

лого. Вы чувствуете своим телом весь необъятный мир. Маленькое тело с его интеллектом становится только одним из органов большого тела — единственным, которым вы свободно двигаете, вашим главным инструментом, и только. Остальные тоже иногда подчиняются вашей воле, от случая к случаю. Тогда мы говорим о чуде. Но главное чудо третьего уровня — то, что вы чувствуете боль и радость всего вокруг (хотя, может быть, глухо доходящую боль и радость). Вы относитесь к каждому человеку, как к своему ребенку, и к миру, — как будто вы сами, с трудом и любовью, создали его. Это то, чего хотел Христос. Это — уровень бессмертия потому что бытие, ощутившее себя в вашем теле, не знает смерти. Это — уровень свободы, потому что нет больше ничего вне вас, что могло бы вас ограничить, обусловить.

Есть совершенство фигуры, замкнутой в себе. И есть совершенство угла, разорванные концы которого уходят в бесконечность. Но есть бóльшее совершенство: сферы, центры которой всюду, а периферия — нигде. Первые два совершенства, отрицающие друг друга, сливаются в нем.

Собственно, Бог и есть этот идеал, выросший в душе, сознавший свое большое тело. Это образ, метафора, ее нельзя «реализовать», принимать буквально. Но за этим образом что-то есть, хотя это «что-то» нельзя констатировать как факт, нельзя описать языком науки. «Язык атмана — молчание» (Шанкара). И больше того: только это «что-то» и есть, всё остальное — *существует*, существует как тень его бытия.

Надо понять, что вообще есть. Есть ли камни, моря, звезды? Они устойчиво существуют, устойчивей, чем мы, но ведь существование — только инерция бытия. Подчиняясь второму закону термодина-

мики, камни, моря и звезды медленно перестают быть. Даже система координат пространства и времени и она конечна. «Времени больше не будет». Массы материи, свитые в галактики и рассыпанные, как звездная пыль, — только массы шлака из плавильной печи бытия. Только в живом проявляется движение, которое можно назвать движением бытия (или движением к бытию), — движение противоположное тепловой смерти, энтропии. Но живое существование еще очень неполно, несовершенно, очень хрупко. Это только восход бытия. И Бог — это то, к чему оно восходит. Бог — просто образ бытия, бытия без всяких скидок, бесконечной полноты бытия.

Бог так же реален, как цвет. Без человеческого глаза нет зеленого, красного, синего; но зеленое, красное, синее обнаруживает что-то, не зависящее от глаза; точно так же наш внутренний глаз видит бытие целого, полноту бытия как Бога. Разница только в том, что дальтонистов внутреннего зрения больше, чем обычных, клинических дальтонистов, едящих синие груши.

Это бытие есть. Мы можем его чувствовать; иные минуты, часы, дни, можем совершенно сливаться с ним. Есть люди, которым удавалось никогда не терять контакта с ним, даже погружаясь в области неполного и несовершенного бытия, всегда всплывая к нему снова, как легкое тело всплывает на поверхность воды, лишь только перестают давить на него. Мы можем сделать свою душу легкой и способной неуклонно всплывать на поверхность воды в каждое мгновение, в которое на нее ничто не давит. Надо только освободиться от груза пустяков, прилипших к нам, не признавать эти пустяки своими, своей сущностью, не позволять частностям заслонять целое.

Есть только целое. И наше бытие — его бытие. Оно безгранично больше нашего интеллекта, — как храм Сент-Экзюпери непостижим для камня его стен. Ощутим, но непостижим. Мы можем назвать его абсолютным, единством атмана и брахмана, ничто всех качеств, всего конечного, не тем и не этим, — или образом: Бог. Образом, который всплывает из глубины души, когда она освободилась от всякого знания и всякого желания знать, когда всё частное в ней замерло. Нельзя назвать то, что не имеет имени, что разум может почтить только молчанием. Ибо на языке разума всё двойственно (если не множественно). И там, где назван Бог, назван и дьявол. Но Бог, рождающийся в свободной душе, — неназванный Бог, Бог — дух — один.

Господствующее чувство на третьей ступени — то же, что на второй, и в то же время совершенно другое: как будто река вдруг потеряла берега и стала морем. И все камни, поднятые ею в горах, улеглись на дно.

Эту любовь незачем искать, ее не надо завоевывать. Она всюду, и достаточно быть живым, чтобы она прикоснулась к нам. Наоборот, надо совершенно потерять человеческий облик, чтобы волны ее нехотя обошли тебя, оставили в стороне.

На этой ступени нельзя спрашивать, по ком звонит колокол. Он всегда звонит по тебе. Каждая душа, оставленная своим телом, привязывается к твоей, вливается в твою душу, передает тебе свою любовь, свою боль, свою тайну. И ты идешь, перегруженный ими, и не хватило бы десяти тысяч жизней, чтобы сделать всё, — что ты хочешь, что ты не можешь не сделать — и знаешь, что не одолеешь.



Жить на третьем уровне — не значит отказаться от первого и второго. Так часто думали в прошлом, но это не так. Пласты бытия должны быть взрыты, сдвинуты, чтобы взросло семя, брошенное в них. Совершенство первого и второго уровней должно быть нарушено, но не разрушено. Благословенна не почва, оставленная в стороне плугом, и не почва, превращенная в пыль: она ничего не родит. Говоря языком образов, Бог хочет вспахать, а не уничтожить. Истины особи и рода продолжают жить в Нем. Они теряют только свою законченность, начинают светиться чем-то большим, чем они сами. Третий уровень не вне первого и второго, а внутри них. Это — пауза бытия, в которой всплывает целое, бесконечно большее, чем все отдельные звуки. Вынуть ее из музыки нельзя. Сами по себе они ничто.

Это не уровень, как все другие, сколько бы их ни было. (Можно насчитать их 22, учитывая все варианты, и 122. Третий уровень всегда остается третьим лишним.) Это — выход за пространство и время, за все рамки. Выход и присутствие в них во всех. Попросту выйти значит перейти с одного места на другое; а выйти за место, за время — значит присутствовать в месте и во времени, но как-то по-новому. Выбрасывается сетка координат, вынимается решетка из окна. Мы ничего не хотим схватить ни руками, ни умом. Просто входим в мир и видим его таким, какой он есть.

«Как это удивительно, как это сверхъестественно, как чудесно! — Я таскаю воду, я подношу дрова!» (Пан Юнь).

Физический труд, «грязная работа» раскрылась как «чаша, полная чудес». Чудо — вовсе не нарушение закона (осечка ничуть не чудеснее выстрела).

Это — бытие по ту сторону закона и нарушение закона. Там, где нет забора, нет и дыр в заборе.

Всё — чудо. Всё — Бог.

Это — уровень совершенной легкости и совершенной заполненности. То, что тождественно миру, свободно, не определяется ничем внешним и в то же время лишено собственной воли. Рамакришна сказал: «Бог, один Бог дает всё. Вы можете сказать, что в этом случае человек свободен от ответственности. Но это неправда. Если человек твердо уверен, что только Бог деятель и что сам он ничто, тогда он никогда не сделает ложного шага».

Примерно то же сказал Августин: «Полюби и делай, что хочешь». Полюбив, перестаешь думать о своем. Думаешь о том, что любишь. О мире, о Боге (всё равно, как это называть), о жизни. И хочешь того, что оно диктует, насколько ты можешь понять его язык.

Да будет воля Твоя, а не моя.

Все проблемы жизни остаются, но они теряют вязкость, перестают запутывать. Всегда есть прибежище в несотворенном, неразрушимом, в том, что большинством людей вовсе не ощущается, что для них — ничто.

Бремя остается, но оно легко. Заповеди остаются, но не как внешний, а как внутренний закон, и охраняет его не страх, а любовь. «Совершенная любовь изгоняет страх».

Никто не мешает нарушать все десять заповедей, и знаешь, что иногда придется сделать это: порвать с отцом и матерью, полюбить жену друга. Но не сделаешь этого до последней крайности, схватившей за горло. Потому что грех, даже если *нужно* принять его на душу, остается грехом. Всякий грех,

даже тот, не сделать который было бы бóльшим грехом, трусостью, низостью, раскрывает ворота зла. Иную старушку не только можно, — надо убить. Никто не бросит камня в полковника Штауфенберга. Но вслед за старушкой идет под топор Лизавета, и если не под твой собственный, то под топор другого. Ты ввел в мир убийство. Все вакханалии зла начались с *необходимых* действий, с жертвы, принесенной на алтарь *исторической необходимости*.

Поэтому каждый грех требует искупления, и не только внешнего, обрядового, а всеми силами души. И жизнь на третьем уровне — не только вечная радость, но и вечное страдание, искупление грехов, чувство вины перед каждым, которому не можешь помочь, кого ударил и обидел, не мог не ударить и не обидеть. И еще какой-то вины, которую нельзя описать, если не сказать: вины перед Богом. Потому что ты Его бьешь, кого бы ты ни ударил. И если ты не чувствуешь этого, ты не знаешь Бога. Это одно из самых главных имен Его: *Тот, Кого ты бьешь, кого бы ты ни ударил*. Я не говорю: не твори зла, не бей. Нет, бей, если это нужно. Но помни, Кого ты бьешь.

Нельзя сделать ни одного шага без зла; но нельзя привыкать к этому, оправдывать себя, перестать чувствовать зло как зло. Смертный грех — самодовольство, респектабельность, самооправдание логикой, необходимостью и прогрессом. Дьявол — логик. Дьявол — тень Бога, логическое следствие того, что было истинным вчера, позавчера. Бог каждый день рождается новым, каким Он сегодня нужен, и вступает в борьбу со своим собственным следом, инерцией, тенью. И в этом Ему надо помочь, вступить вместе с Ним на весы мира и уравнивать тяжесть, тянущую мир к гибели.

Шрёдингер определял жизнь как отрицательную энтропию. Схоластики определяли Бога как чистое действие. Я понимаю это как вечную борьбу со своей собственной тенью. Зло — инерция добра. Всё, что становится инерцией, становится злом.

Бог — это вечная смерть-воскресенье. То, что было вчера, должно умереть. И величайшие враги Бога те, кто не дает свершиться делу смерти. Ибо только смерть попирает смерть, ибо только смерть открывает путь воскресению. Человек должен умереть, чтобы родилась икона, и икона, свободная от человеческих слабостей, завершила его.



Нет никакого пути, который ведет к истине. Есть пути, которые проходят близко от истины. Но чтобы войти в истину, надо свернуть с дороги, самому продолжить след. Все чужие следы ведут в тупик. Ибо они достигли истины когда-то и где-то, а не здесь и теперь.

Даже прекращение инерции, понимание, свобода становятся инерцией, непониманием, запутанностью в символах, потерявших смысл. «Тот, кто ищет спасения в нирване, связан нирваной. Тот, кто ищет спасения в пустоте, связан пустотой». Даже в слове «воскресение» есть инерция. И эта инерция вытеснила Христа. Она заставила думать о будущей жизни, вместо того чтобы воскреснуть в этой. Она увела людей от Царствия Божьего внутри нас к поискам теплого места за гробом.

Собирать сокровища на небе — не значит собирать что-то для себя. Воскресение — это не мое воскресение. Всё *мое* должно затихнуть или сгореть, чтобы воскресение началось. То, что воскресает, это не я

в чем-то, а кто-то во мне. Обо мне пусть думают другие, если это им нужно. А я хочу, чтобы во мне воскресли те, кого я любил. Чтобы во мне жили те, кто умерли. Чтобы я был только сосудом, фонарем, в котором светит их свет.

Смысл внутренней собранности на иконе не в том, чтобы икона помогла нам, а в том, чтобы мы помогли ей, дали ей воскреснуть в себе и этим, но только этим спасти что-то в нас самих. Те, кто вслед за нами умрут ради нее и после нее, дадут ей воскреснуть в себе, вместе с ней воскресят и ту частицу нашего бытия, которая бессмертна. До тех пор, пока будут люди на земле. Главное всё же не в этом. Главное, чтобы жило бессмертное — не ради нас, а ради себя самого, чтобы оно сегодня жило, хотя бы завтра разверзлась земля. И только через смерть личности, через мою смерть может воскреснуть Бог. Мне нужно умалиться, чтобы Он возвеличился. Мне нужно, чтобы Его, а не мой образ остался. Мне совсем не нужно личное бессмертие. Мне нужно только сочувствие. Такое же большое, как радость (чтобы она стала долгим, глубоким счастьем). Такое же большое и большее, чем горе, — чтобы горе растворилось и потонуло в нем. И всё это человек может дать человеку. Если он достал до глубины собственной души, до тысячелетнего царства праведных.

Остальное — прах, и пусть он истлеет. Человек — существо, которое только в нигде, только в никогда находит свое завершение, свою вечность. Без этого «нигде» и «никогда» он — только двуногая скотина (или машина). И пусть рушится всё, что нашло себе время и место, — Царствие Божие не от мира сего.

...Из запутанности рождается свобода, из свободы — любовь, из любви — новая запутанность. Но каж-

дый проделывает этот круг по-разному. Большинство — почти не вылезая из запутанности (некоторые — совсем не вылезая; разве в детстве). И только немногие проходят через царство Люцифера легкими неслышными шагами, не запутываясь в его соблазнах. Как хотел Лао-цзы, как шел по водам Христос.

1962-1964

КВАДРИЛЬОН

С птичьего полета или из подворотни я глядел — не знаю. Как розу ни назови, она одинаково хорошо пахнет. Но в один прекрасный день я увидел, что люди, мои современники, распадаются совсем не на те группы, про которые учат в школе. Гораздо более важно разделить людей по тому, какому писателю они могли бы присниться во сне: Толстому? Гоголю? Достоевскому?

С классами или профессионально-техническими группами эти привидевшиеся мне слои не совпадают. В некоторых отношениях классы продолжают существовать: у одного инфаркт, у другого геморрой, у одного дача, у другого нет дачи и т. д. Один с удовольствием слушает Чайковского и даже Баха, другой — только Окуджаву. Но всё это потеряло для меня значение.

Я не страдаю от голода, от невозможности купить автомобиль — Бог с ним, доеду в метро. Но у меня какая-то другая тоска. Нельзя насытить ее, накормив меня согласно труду и даже по потребностям, сколько влезет. Я знаю, что влезет (из того, что можно взять) немного. А хочется чего-то такого, что не укусишь, как локоть. Что мне до того, как новый класс, описанный Джиласом, по-новому организует производство и распределение баракла —

Этот эссе возник как реплика на беседы Н. С. Хрущева с писателями и художниками, но он быстро перерос первоначальные рамки. — Автор.

Впервые «Квадрильон» опубликован в ж. «Грани» № 64, июнь 1967 г. Печатается здесь с авторскими изменениями. — Р е д.

если мне плевать на барахло? На хлеб и кров над головой не плевать. Но ведь это решенная проблема. Правда, не во всех странах. Китайцам сейчас не до того, чтобы кусать локоть. Им бы чего посущественнее. Но наша земля велика и обильна, — в том числе техникой и химией; не хватает ей только одного — порядка. В конце концов, порядок будет наведен, вопрос «принцип или масло» будет решен в пользу масла, и в трактирах — как уже было предугадано в «Сказке о ретивом начальнике» — станут торговать паюсной икрой. Что же будет тогда?

Тогда всем станет ясно, что главный вопрос двадцатого века — вопрос о неукушенном локте. Голод, который нас мучит, заставляет просто отдать кесарю кесарево. В форме динария, если кесарь не глуп, или в форме сдачи (бывает и такая плата). А еще лучше — заменить кесаря каким-нибудь счетно-решающим устройством.

Людам надо делать другое: копать колодец в ничто, в никуда, к нерожденному, неставшему, необу-словленному...

И я, по-видимому, ищу товарищей в этой работе. И с этой новой точки зрения заново пересматриваю общество. Я нахожу что-то общее у всех героев Толстого, у всех героев Гоголя и т. д., и это что-то кажется мне важнее, чем разное отношение к средствам производства. Граф Ростов богат, а Тихон Щербатый беден, но оба они принадлежат к одной породе. Что их объединяет? Вот что мне важно!

В «толстовском» слое есть что-то родовое, роевое, архаическое, как поэмы Гомера. Сохраняется след племенной культуры: нераздельность Бога и рода, связанность общей святыней и общей землей (община — вместо рода, земля — вместо тотема)... «О русская земле! Уже за шеломянем еси!» Это возрожда-

лось почти без перемен, от замышлений Бояна до черновиков «Войны и мира»; но сейчас родовое исчезает. Там, где поля пахут тракторами, толстовский слой выпахан. Осталось несколько стариков: старики Кирсановы, старуха Матрена, немолодой уже Иван Денисович. Они как-то знают тайну (сами не зная, как). Но их самих уже почти нет.

Второй слой, гоголевский, я назвал бы псевдонародным. Это мир городничих и держиморд, хлестаковых и осипов, майоров ковалевых и поручиков пироговых, иванов ивановичей и иванов никифоровичей. Все они существа только отчасти живые, — как хвост змеи, который продолжает извиваться, отрубленный от тела, как ногти, растущие на трупе.

В сущности, с любым из них может случиться, как с майором Ковалевым: думали все, что человек, а оказалось — нос. Это не люди, а рыла (кувшинные и прочие), или другие органы, еще менее почтенные. Органы рода (роя), отрубленные от него и приросшие к какому-то агрегату (чаще всего — государству). И если род относится к Богу, как дикий и вольный зверь к человеку, то рыла — это приученный к ярму зверь, скот. Журавль в небе рылам ни к чему. Для них наилучша птыця — ковбаса.

Гоголь назвал их мертвыми душами. Мертвыми потому, что органической, живой связи с целым (через род и землю) и них уже нет. Остались только привычки, рефлексy родовой жизни (как рефлекс извиваться у отрубленного хвоста). И эти рефлексy создают видимость существования, — даже неплохого, если в положенные часы поступают питательные соки.

Когда мертвая душа голодна, ее охватывает беспокойство, и поведение ее резко меняется. Поэтому мертвые души делятся на два разряда:

Два сорта крыс на свете:
Те сыты — голодны эти...

О тех и других всё сказано у Цветаевой:

Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных и сытость сытых.

Дорвавшись до пирога, голодные рыла быстро наедаются и отъедаются. Святое беспокойство исчезает (вместе с памятью о тех, кто вытолкнул их распорядиться пирогом). Происходит простая перемена мест слагаемых, которая, как известно, не меняет суммы. Исключения укладываются в одну десятую (или сотую) и добродетелями своими вызывают несбыточные надежды, необходимые, по-видимому, для нормального хода процесса.

Оторванные от земли и рода люди гоголевских глин, привыкшие за что-то цепляться, схватились за место. Место не только красит их: оно создает их, как Бог создал мир, из ничего. Место определяет их взгляды, вкусы, мораль. Мораль, которую Сквозник-Дмухановский совершенно серьезно преподносит Держиморде: «Не по чину берешь!» Не та номенклатура.

Ибо человек гоголевских глин совершенно полно, искренне, без малейшего надлома отождествляет себя с местом, а место (и доходы от этого места) с собой. Все они воры, но в то же время патриоты. «Если завтра война», — люди гоголевских глин, за немногими презренными исключениями, готовы (не переставая воровать) положить свой живот на алтарь отечества. При этом понятие отечества они никогда, даже умирая за него, неспособны отделить от понятия «ваше превосходительство».

Всё это кажется очень нелогичным. Но рылам плевать на логику. Логике рыло воспринимает как путаницу; логика нарушает, путает привычный уклад жизни рыла. А рыло любит жизнь, — во всяком случае, не меньше, чем миргородская свинья любит свою лужу.

Рыла любят пожить, и если не разбираются в цветах жизни, то очень даже обожают ее ягодки, её так сказать, клубничку. Рыло, безусловно, предпочтет попользоваться насчет клубнички, чем взорвать триста миллионов людей ради вящей славы Божьей. В двадцатом веке это не так уж плохо. Рыла по-своему совершенны в своей любви к жизнедеятельности прежде, чем к смыслу ее. Когда война стала грозить атомной бомбой, мертвые души стали сторонниками мира. Сравнительно с Павлом Федоровичем Смердяковым в мертвых душах есть что-то живое и теплое. Само слово рыло невольно ассоциируется с теплотовными; оно пахнет жизнью. И не рыл ли воспел поэт?

Немного теплого куриного помета
и бестолкового овечьего тепла...

Я всё отдам за жизнь. Мне так нужна забота.
И спичка серная меня б согреть могла...

Третий слой в девятнадцатом веке никем не был описан. Его только называли: Чернышевский — «новыми людьми», Митенька Карамазов — Бернарами. Это не мертвые души, скорее неродившиеся, вылупившиеся из книги, как гомункулус из колбы. Иногда, ценой огромных мучений, они способны ожить. По отношению к народу в старом смысле этого слова, гомункулусы — слой народолюбивый и в то же время — антинародный. Почему — ясно будет из дальнейшего.

Гомункулусы так же, как мертвые души, — функционеры. Можно рассматривать их, как и рыл, в качестве продуктов распада первоначального рода (роя), обособления отдельных его органов и прилипания к новым агрегатам. В гомункулусах обособился мозг; они созданы из лобных долей родового мозга, иссеченных скальпелем анатома, и защищены от жизни стеклянным колпачком понятий. Тогда как рыла (судя по частым воспоминаниям, мелькающим в их языке) возникли путем естественной эволюции из гениталий или ануса; понятия, идеи, принципы их не стесняют.

Говоря точнее, рыло воспринимает действительность спинным мозгом; у него особый ум, аппаратный (образец такого ума обрисован Толстым в князе Василии Курагине); он почти инстинктивно делает всё, чтобы получить место, удержать его, передвигаться на лучшее и т. п. Напротив, гомункулус обладает в своих больших полушариях исправно действующим счетно-решающим устройством, и деятельность этого устройства иногда становится для него самоцелью, до полного забвения практических выгод.

При распаде рода будущие рыла прилепились к тому, что непосредственно дает хлеб — к аппарату царского дома, купеческого дома, публичного дома и т. д., смотря по тому, что доступнее и выгоднее. Гомункулусы — в известном смысле идеалисты. Они прилепились к науке, — то, что в них функционирует, — интеллект. И хотя интеллект — только функция, а не целостность человеческого бытия, но функция превосходная, несравнимая с деятельностью желудка и зубов. Она не может быть стопроцентной работой рычага в агрегате; часть работы интеллекта уходит, с точки зрения агрегата, вхол-

стую, на жизнь духа. Вслед за Невтонами земля российская начинает рождать Платонов. Или сами Невтоны начинают вести себя как Платоны:

Открылась бездна, звезд полна.

Звездам числа нет, бездне — дна...

Гомункулусы — прирожденные враги и соперники рыл. Что рылу здорово, то гомункулусу смерть, и наоборот. Гомункулус открывает форточку (потому что он *знает*, что свежий воздух полезен), рыло закрывает: боится сквозняков. Гомункулус не может без логики — рыло ее не выносит. Гомункулус любит инструментальную музыку, рыло — хор Пятницкого, парады, и равнения. Наконец, задумавшись и перестав добросовестно функционировать, интеллектуал превращается в Ивана Карамазова, рыло — в Смердякова.

Некоторые считают, что механизм современной цивилизации, слишком сложный для понимания рыл, требует замены их интеллектуалами. Власть гомункулов уже получила название (технократия). Однако в наличии ее нигде нет.

Чисто теоретически рассуждения интеллектуалов кажутся безупречными. Но практически рыла всегда берут верх. У них великолепно развито чувство коллективного самосохранения, инстинкты стадности, партийности. Рыла могут драться между собой — и с гадами, о которых речь будет ниже, но запах интеллектуала сразу вносит единство в их ряды. Чтобы посрамить рыл, нужно разрушить инстинкты, поголовно испортить человечество средним и высшим образованием. Это — возможный, но (как мы увидим дальше) очень опасный путь.

Бернары, как я уже говорил, не были хорошенько описаны в нашей классической литературе, но сей-

час их развелось так много, я стольких встречал (а с некоторыми и дружил), что попытаюсь самостоятельно разработать тему.

Рост популяции бернаров связан с развитием точных наук; но бернар — вовсе не обязательно ученый. Бернгард Фильберт (написавший книгу «Христианское пророчество и атомная физика»), вопреки своему имени и профессии, совсем не бернар. Вообще современные ученые, по большей части, только одним боком бернары. Бернар — тип ученого прошлого века. Современные — какие-то метафизики: Шредингер пропагандирует веданту, Флоренский читал лекции о диэлектриках в рясе и клобуке...

Раскалываясь на своих вершинах, тип бернара широко входит в быт, становится популярным. Бернары умножились среди инженеров, учителей, встречаются они и между бухгалтеров, создающих новые формы учета и отчетности. Наконец в эпохи революций некоторые бернары (начиная с Карно) становятся теоретиками и практиками политического действия. В этой функции они участвуют в отсечении голов других бернаров, равнодушных к политике (случай с Лавуазье). Марксизм привлек в ряды рабочего движения большое число бернаров (и раки-тиных, о которых речь пойдет ниже). Они внесли свою лепту в историю девятисотых, десятых и двадцатых годов.

Бернар в спокойном, аполитическом состоянии и бернар в возбужденном, политическом состоянии одинаково убежден в разрешимости всех вопросов научными методами. Но бернар нормальный режет лягушек, а бернар взбаламученный — людей. Поэтому их деятельность невозможно одинаково оценить. Нормальный бернар занят решением задач, которые могут быть строго сформулированы. О яв-

лениях, не поддающихся строгому описанию (например, о счастье личности или общества), он позволяет себе выразить твердую уверенность, что когда-нибудь и эти явления будут описаны языком математики, и тогда счетно-решающие устройства будут щелкать вопрос «быть или не быть?», как орешек. Эти разговоры, однако, не выходят за рамки курительной комнаты Ленинской библиотеки или самое большее — страниц «Литературной газеты»:

Напротив, бернар, сорвавшийся со своей орбиты, начинает решать вопрос «быть или не быть?», ударивший ему в сердце, без всякого промедления; и вместо науки получается научная идеология, вместо эксперимента — красновардейская атака на капитал, ликвидация кулачества, большой скачок...

К сожалению, чрезвычайные обстоятельства и вызванные ими страсти почти совершенно лишают бернара, втянутого в политику, способности к трезвой и честной научной самооценке. Все возражения против научной идеологии расцениваются по принципу «кому на пользу», и наука по всем правилам диалектики превращается в собственную противоположность.

Чем больше эта научная догма воплощается в жизнь, тем глубже рана, нанесенная жизни, безысходнее тупик, недостижимее выход из него. Словно проклятие лежит на всем, что начал великий преобразователь, гений человечества, Фауст-Бернар. Сами добродетели его становятся скрытыми пороками. Он неподкупен, настойчив, деятелен, справедлив, умен, он плавает в волнах революции, как рыба в воде; он отзывчив, чуток, добр (да, добр, несмотря на террор), он любит народ. Всё равно. Тем прочнее традиция, которую он создал, и тем она страшнее.

Фауст-Бернар, вождь трудящегося человечества,

обычно обладает прожекторным типом ума, со страшной силой нацеленного в одну точку и в то же время способного быстро поворачиваться, освещая предмет с разных сторон. Вся его огромная энергия сосредоточена в одном кругу вопросов, так или иначе связанных с одной технической задачей: захватом власти. Здесь он великолепен. Но победа — катастрофа для бернара. Захватив власть, он, по характеру своему, неспособен остановиться, предоставить жизни, освобожденной от препятствий, течь своим путем. И начинает планировать, экспериментировать, калечить...

И всё же, несмотря на вред, который бернары иногда приносят, это, несомненно, самая здоровая часть современного общества. К ним не может подступиться тоска — мать всех пороков и идеалистических вывертов. У них есть здоровое занятие: решать интеллектуальные задачи. Этот кретинизм интеллектуальной жизни сравним с кретинизмом жизни деревенской; так же и поэзия научных открытий — с поэзией сельского труда.

Бернар весь ушел в функционирование своего интеллекта. То, что вне интеллекта (с освещенного интеллектом подопытного угла действительности), для него только место отдыха или пустырь.

Бернар *чувствует* поэзию, музыку, живопись. Он любит Баха (а не Соловьева-Седого: вкусы интеллектуалов резко и даже полемически противопоставлены вкусам рыл). Но попробуйте сказать, что музыка Баха — более глубокое познание Целого, чем квантовая или еще какая-нибудь теория; физик только презрительно улыбнется. Так улыбался Иван, слушая Алешу. Но у Ивана бывали минуты, когда он хочет понять, что не укладывается в эвклидовский разум. Иван тоскует, Иван знает, что ему

чего-то недостает. Бернар в этом отношении — недоразвитый Иван. Недоразвитый в целом из-за слишком сильного развития интеллектуальной машины. Представим себе Ивана, который бы написал не маленькую статейку о монастырском суде, а пишет один трактат за другим, или режет лягушек и т. д. Беседовать с чертом у него бы просто не было времени. Инерция размахавшегося интеллекта так велика, что самые жгучие моральные вопросы не в силах из нее вырвать. Энрико Ферми закончил разговор об атомной бомбе словами: «В конце концов всё это — превосходная физика!» Тут есть надежда, что развитие науки в конце концов ведет к добру. Так сказать, «что хорошо для Дженерал моторс — хорошо и для американского народа». Но больше всего профессионального кретинизма.

Нормальные бернары любят свое дело так же, как герой Глеба Успенского — поле, лошадь, хитроумную несущку... Это честные пахари научно-технической цивилизации. В интеллектуальном блеске они находят своеобразную поэзию и музыку, и она кажется им высшей музыкой (как некрасовскому помещику — лай собак: «Что твой Россини! Что твой Бетховен!»). Кто бы ни правил столицей, крестьянин не может оставить неубранное поле, бернар — незаконченный опыт: «в конце концов всё это — превосходная физика».

Бернары гордятся тем, что увеличивают власть человека над природой. Но власть — не безусловное благо. Она оправдана как альтернатива анархии, как меньшее зло. Это меньшее зло легко может стать большим, если люди перестали понимать, что имеют дело со злом, а не с добром.

Власть над природой хороша, насколько освобождает человека от страха, голода и болезней. Но

власть эта сама по себе — болезнь, похуже чумы. Она отчуждает человека от всеобщего ритма и строя, от самого себя. Вся человеческая культура — только конденсация ритмов, разлитых в природе. Стремительное развитие власти над природой прерывает пуповину, питающую душу зародыша. Агрегаты цивилизации, растущие, как опухоль, разваливают целое культуры. Ученые решили вопросы, которые тысячелетия ставили в тупик пахарей и пастухов. Но решение создало новую ситуацию, с которой наука не в силах справиться. И если завтрашний день принадлежит ученым, то послезавтрашний — кому-то другому. Тому, кто освободит нас от апокалиптического страха, созданного самой властью над природой. И не только от страха атомной, бактериологической, черт знает какой войны; еще сильнее давит страх пустоты...

Слой гомункулусов имеет не только благородную разновидность (бернаров), но и вульгарную (раки-тиных). Скажем несколько слов о ней. Ракитин, как и бернар, верит в науку; но в отличие от бернара, он и себя не забывает. Для бернара наука сама по себе — величайшая ценность и радость. Для ракитина она скорее средство, средство добиться успеха. Ракитин относится к бернару, как купец к мужику. Это не специалист-идеалист, а специалист-рвач. Но как в купце есть что-то здоровое, мужицкое, так и в ракитине есть что-то бернарское, положительное. Ракитин до крайности легко приспосабливается к обстоятельствам; в обществе гадов и рыл он ведет себя как гад и рыло, но особенного удовольствия это ему не доставляет; он человек порядочный и предпочитает более мягкие формы борьбы за существование.

Получив телевизор и дачу, ракитин благодушест-

вует и ведет жизнь, мало чем отличающуюся от жизни Ивана Ивановича (разве книжки читает поумнее). Между ними может возникнуть спор из-за разрушенного забора, но в общем, ракитин (как и Иван Иванович) — сторонник мира.

Ракитин не чужд поэзии и иногда пописывает стихи:

Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко...

Технически его стихи бывают довольно совершенными (техника — сильная сторона ракитина); они вполне современны по форме и по идее — см. «Сорок отступлений из поэмы «Треугольная груша».

В общем, в ракитине обнаруживается нечто, связывающее головоногих (гомункулусов) с рылами. Помню, я был на творческом вечере одного юного поэта из рода ракитиных. Он удивительно напоминал резвого нахального поросенка, и даже лавровый венок, которым девушки, ликуя, порывались венчать его, очень подошел бы к делу. Нехватало только хрена. Впрочем, через некоторое время рыла и гады сожрали его без всякого хрена, в собственном соку.

Четвертый слой — это неприкаянные, ни к чему не способные прилипнуть (ни к государству, ни к науке). Они могут найти себя только в соприкосновении мирам иным, в Боге или в дьяволе.

Достоевский пытался спасти безотцовщину, затолкав ее назад — в род, в народ. Но даже сто лет назад это было утопией. А сейчас просто некуда заталкивать. За словом народ стоит только желание Ивана Никифоровича, чтобы его считали Тарасом Бульбой; желание само по себе очень любопытное и может стать предметом специального исследования, но принимать его за реальность невозможно.

Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая. Окунать в народ — значит сейчас окунать в пустоту. Это — испытание, которое может выдержать разве святой, а не спасение для слабого. Первый шаг, который вынужден сделать слабый, — замкнуться в себе, обособиться и спасти себя от растворения во всеобщей жиже. Второй — найти друзей, схватиться за них и замкнуться в искусственной, обособившейся от болота среде, в своего рода оранжерее, защищенной хрупкой стенкой гордыни. Здесь, где никто не наступает на ноги, можно дать кристалликам человека возможность немного окрепнуть и развиваться. Третий шаг — выйти на несколько шагов из оранжереи... И только двадцать третий — вернуться в массу. Вернуться как власть имущие, вернуться как боги, знающие добро и зло, способные вдохнуть душу в вязкую глину.

Народа нет. Есть отдельные люди, но народа нет. Народ должен быть воссоздан. И зерно народа — это кучка, которая имеет мужество не подчиняться массе, кучка, которая ищет.

Безотцовщина более или менее образованна, просвещена, стоит на почве разума. Но разум ее бьется на пороге жизни, — не в силах войти в нее. И это мучение не каждому по силам. Многим не по силам, и они начинают думать: а может, жизни вовсе нет? Может, жизнь выдумана, и есть только смерть?

Очень важно понять, что Смердяков — не обязательно повар. Он может быть юристом, как горьковский Самгин, академиком, как Л., художником, как С., поэтом, как Г. Совершенно неважно, к какой профессионально-технической группе случай его приткнул. Смердяков — специалист, и с презрением

относится к Карамазовым, у которых нет специальных знаний, тогда как он всегда может открыть рестораны в Питере. Но это одна оболочка, как фрак и орден Льва и Солнца у ночного гостя Ивана Карамазова или должность архивариуса у персонажа из сказок Гофмана. Под форменным пиджачком Павла Федоровича поблескивает зеленовато-серая чешуя. И когда он сидит в президиуме, красная бархатная скатерть чуть заметно колыхнется: это, вздрагивая от аплодисментов, сладострастно изгибается драконий хвост.

Смердяков может окончить сельскохозяйственный политехникум и четыре курса заочной сельскохозяйственной академии, а потом всё бросить и приняться за романы — доносы. Или двигать вперед мичуринскую биологию и втайне писать те же доносы.

Что бы ни делал смердяков для пользы трудящихся, это один обман. Настоящее дело его — интрига, донос, гадость. Порядочные люди гадят ближнему по необходимости, без удовольствия. Смердяков от гадостей пьянеет, как кот от валерьяновых капель. Гадить, уничтожать, отравлять ядом — пафос и смысл жизни Павла Федоровича. Убить отца, истребить всё, что можно, а потом, в заключение, истребить самого себя... Вот всё, на что он способен. Как Гитлер, как Геббельс.

Ни в коем случае нельзя путать смердякова со специалистами в точном смысле этого слова, с добросовестными функционерами науки и техники. Смердяков — недоносок, выкидыш. Выкидыш интеллигента, науки, просвещения, болезненное отклонение от нормы. Он, как раковая клетка, сам по себе жить не может и существует только за счет других, разрушая среду, которая питает его.

Этот тип одновременно наглый и неуверенный в себе. Наглость сближает его с некоторыми гоголевскими типами — Ноздревым, Пироговым. Но Пирогов, как и другие мертвые души, превосходно обходится без души и поражает могучей жизненностью. Он не знает сомнений в основах своего бытия. Отсюда его неколебимость в бедствиях. Будучи высечен, он тут же утешается, съев слоеный пирожок.

Пирогов — рыло, персонаж скотного двора. Он пахивает навозом, а не бензином. С конвейера его не выпустишь. И даже из десятилетки, как она ни плоха. Как правило, за спиной поручика только ЦПШ (церковно-приходская школа).

Поэтому образование приводит к опасному упадку реальности. Опасному потому, что связано с распространением гадства.

И рыла, и гады — недоучки. Те самые, о которых писал Монтень: простые крестьяне — прекрасные люди, и прекрасные люди — философы; но всё зло от полуобразованности... Или, говоря языком монахов, — на полпути сторожит дьявол.

Рыла стоят в самом начале пути от крестьянина к философу, от зверя к Богу. В них еще много скотского добродушия. Гады — как раз на полпути. Они прогрессивнее и потому страшнее.

Все фашистские режимы в слаборазвитых странах немного напоминают оперетту. За исключением, может быть, Испании, но Испания — особый случай. Даже воскресное развлечение не обходится здесь без убийства — по крайней мере, быка и 2-3 лошадей. Поэтому число убитых в Испании ничего не доказывает. И я отказываю генералиссимусу Франко в титуле настоящего злодея. Он, как один из Топтыгиных (второй, кажется) — чижика съел.

Потом Топтыгин истребил полтора миллиона душ, и всё же он шут. Не будь на свете Гитлера, ничего бы у него, кроме буффонады, не вышло.

Для настоящего, всемирно-исторического злодейства нужна чистоплотность и методичность, воспитанная в массах трудящихся всеобщим образованием, лучше всего — неполным средним (можно и полным, но это опасно: возникает интеллигенция). Итальянский фашизм отдает скорее касторкой, чем кровью; только аккуратные, поголовно грамотные немцы могли построить Майданек.

Поэтому я с тревогой смотрю на распространение цивилизации. Не потому, что не доверяю ее возможностям. Они очень велики. Человечество может подняться на ступень, с которой нынешний век покажется чуть ли не каменным. И не только с точки зрения техники (в это теперь все верят), но и духовно человечество (если выживет) будет оглядываться на нас с почти недостижимой высоты. Но пока что мы стоим на полдороге. В том самом месте, где сторожит дьявол.

Пирогов, Ноздрев и всякое рыло живет, не думая, живет рефлекторно; его невозможно судить (разве только высечь, если свинство превзойдет меру). Смердяков думает, но не живет; видимость жизни, которой он может обмануть — призрачное существование вампира. Кровь, которая переливается в его жилах и иногда окрашивает щеки — чужая кровь, выпитая по ночам на допросах. Он настолько пуст, что Хейдеггер спутал его с подлежащим неопределенно-личного предложения. Но это подлежащее вполне ответственно, вполне подлежит суду. Он ведет, что творит. Он гадит не стихийно, по природе, а сознательно, идейно, принципиально (природы, почвы у смердякова вообще нет). Гадит, чтобы по-

чувствовать вкус жизни (чужой жизни), чтобы утвердить, упрочить себя в бытие. Это не рыло, а гад.

Пирогов не тщеславен. Если судьба подымет его наверх — хорошо; если забросит заведующим складом — тоже неплохо. Перефразируя Веспасиана, пирогов мог бы сказать: место не пахнет. Лишь бы оно кормило. Всякого рода гамлетовские сомнения ему совершенно чужды. Напротив, смердяков — гамлет лакейский. Боров — скорее его эстетический и моральный идеал, идеальный расовый (классовый) тип, — увы! — недостижимый.

Пирогов, выйдя в отставку, становится добродушнейшим Иваном Никифоровичем. Смердяков в отставке немыслим. Его гложет жажда деятельности. Он пуст, как шелуха, и томительно чувствует свою пустоту. Ему кажется, что он по-пироговски наполнится бытием, заняв место. Но место неспособно наполнить бездонную пустоту дьявола и кажется поэтому незначительным. Нужно непременно первое место: директора, генерала, фюрера и рейхсканцлера. Но и это место не успокаивает его.

Он продолжает действовать, метаться, интриговать. Всякое ведомство, всякое царство слишком мало для него. Кажется, что ему нужен весь мир. Но если бы все планеты, все звезды, все галактики подчинились ему, он еще раз почувствует свою пустоту и тогда, наконец, поймет, что ему нужно только одно: удавиться.

Жить для смердякова — значит руководить. Руководить — в смысле запрещать, указывать, пресекать, карать. В конечном счете — разрушать. И если создавать, то только средства полного, всеобщего разрушения. Война для него — благо (как для Гитлера, как для нашего современника Мао).

Это в полном смысле слова *ретивый начальник* (по Щедрину).

Любознательные бернары создали средства, достаточные, чтобы взорвать земной шар. А смердяковы сладострастно смотрят на кнопку, которую стоит только нажать... Может быть, после этого останется 300 млн. дрожащих подданных, и с ними он создаст, наконец, образцовую, примерную каторгу. А может быть, без них еще лучше. Ах, грезится иногда по ночам — если бы у человечества была одна голова, чтобы отрубить ее одним взмахом бистурия!

Эта безоглядность или, лучше сказать, высокая идейность и принципиальность Павла Федоровича вызывает иногда конфликты между гадами и рылами. Вообще говоря, рыла (там, где они многочисленны, то есть в среднеразвитых странах) играют роль вспомогательного состава в воинстве сатаны (в странах совершенно цивилизованных, как, например, Германия, рыл, по-видимому, отчасти заменяют вульгарные штампы интеллектуалов, ракинины и их однокорытники). Но иногда рыла, призванные из местечек и деревень, чтобы подвывать и улюлюкать в большой травле, изменяют своим обязанностям. Особенно если Павел Федорович заглянется или чего доброго помрет. Тогда рыла, начавшие со скромных и совершенно не номенклатурных должностей загонщиков и выхлятников, могут очень даже себя показать.

Рыла хотят жить; уничтожать всё подряд им нет расчета; нажравшись сладкого человеческого мяса, они укладываются в логовище и, мирно урча, переваривают пищу, — пока подрастает следующая порция, резвясь и тучнея на зеленых лугах. Гадов это раздражает, их бесит вид откормленных овец; они

требуют продолжать кампанию, им лишь бы горло перегрызть, глотнуть крови — и бежать за следующей жертвой, оставляя труп гнить. На завтрашний день им плевать.

Так возникают серьезные конфликты в рамках несокрушимого единства рыл и гадов. Следует, однако, помнить, что непримиримых антагонистических противоречий между рылами и гадами нет. Споры между ними следует скорее рассматривать в духе эстетики 1952 года — как конфликт хорошего с отличным. Когда побеждают рыла, полугады и четвертьгады маскируют свою неполноценность, подражая лучшим образцам рыльности, преподанным учителями и наставниками. Напротив, при покойном Павле Федоровиче рыла отращивали усики и шевелили тазом, как будто у них в самом деле топорщился драконий хвост...

Мысль о кнопке на столе Павла Федоровича лишает сна миллионы людей; но смерть в конце концов не самое страшное. Страшнее была бы жизнь, устроенная по-смердяковски: предбанник с телевизором в углу, и так целая вечность. И вот здесь я могу, наконец, успокоить читателя: это невозможно!

Смердяков ничего не создает. Он как Тень Ученого из пьесы Шварца. Если отрубить ученому голову, упадет и ее голова. Или как Цахес: если не будет студента, не будет и стихов, которые крошка может себе приписать. Смердяков, Тень, Цахес могут доводить до безумия Ивана, Ученого, Студента. Но без них смердяков сразу же исчезнет, как тень без человека. Смердяков — наша тень, без нас он немислим.

Есть чувство более сильное, чем чувство самосохранения. Пока оно молчит — говорит Смердяков.

Но когда оно заговорит, смердяковщина исчезает, тает, как тень, как дым перед лицом огня. Стопроцентных смердяковых не так много. Они утонут, как Цахес, в своих ночных горшках. Страшны не они. Страшно то, что делает Павла Федоровича арбитром, Властью: страшна смердяковщина во всех нас, смердяковское отношение к подвигу, к мученичеству (вспомним рассуждения сына Смердящей о русском солдате, попавшем в плен к хивинцам); смердяковская улыбочка над Дон Кихотом... лакейская улыбочка... Если бы ее выдавили, как Чехов по капле выдавливал из себя раба!

Рядом со Смердяковым, как известно, стоит Иван Карамазов. Павел Федорович ему многим обязан и в хорошую минуту называет себя учеником Карамазова, карамазовцем. Но действительной власти Ивану не дает. А на старости лет, становясь подозрительным, душит.

Отношение Ивана к Павлу Федоровичу еще более странное. Сперва он пренебрегает Смердяковым, потому что Смердяков глуп. Но глупость, в известном смысле, сила. Тонкий Иван говорил: «всё позволено» — и ничего себе не позволял. А Смердяков, прикидываясь дурачком, обвел его вокруг пальца и сел в хозяйское кресло. Павел Федорович фыркает, Иван ошеломлен: «Ведь я не лакей. Каким же образом я смог породить такого лакея?»

Иван думает, что он сам мог бы сидеть в кресле отца. Хейдеггер заявил в тридцатые годы, что истинная идеология национал-социализма очень глубока и не имеет ничего общего со взглядами толпы. Иначе говоря — со взглядами Гитлера или Розенберга. И конечно (хотя прямо это из скромности не сказано), совпадает с философией Хейдеггера...

Из этих деклараций никогда ничего не выходит. В лучшем случае на них не обращают внимания (потому что кто одолеет «Бытие и время»?). Однако иногда у Павла Федоровича бывает по-восточному ревнивый характер. Карамазовых хватают за шиворот, призывают пред очи и заставляют вылизывать языком пол. А тех, кто отплевывается, сажают на кол. И тогда, наевшись грязи, иваны начинают думать: «А может быть, в этом и есть сермяжная правда? Может быть, в лакействе — истина (классовая, национальная, религиозная?). И Смердяков — гений?» И в конце концов современный Иван начинает добросовестно верить в гениальность Смердякова, и крушение этой веры становится для него тяжелым ударом.

Поэтому так грустно читать, как молодые карамазаччо (или бернардини) издеваются над смердяковщиной, поплевают на рыл и гадов.

Аргументы молодежи тонки, язвительны, блестящи — но мне хочется спросить их: да, но «всё позволено»? — «Все позволено для...» Неважно, для чего. Если всё позволено, то через двадцать лет после победы вы сами будете слизывать языком пыль и находить в этом смысл...

Карамазовы — это не только Иван. Есть еще Алеша и есть Митя. Каждый из братьев — задача для Ивана. Самая простая и самая трудная — Митя. Всего только надо понять, что Митя — брат твой. И тогда ты действительно будешь то, что думаешь о себе, не думая об этом вовсе. А сейчас ты пуст, хотя думаешь о человечестве. Это человечество — только поле твоего собственного я. Ты можешь быть совершенно искренним в любви к нему (то есть к самому себе), ты можешь жизнь отдать ради него — и не стать ближе ни к одной живой душе, оставаться в

ослепительном одиночестве. А когда солнце разума перестает ослеплять, по ночам, к одинокому приходит дьявол.

Понять всё это можно только сердцем, не умом. Только сердце может подсказать Ивану, что существование другого — не только скандал; что в другом (даже если он молчит или говорит невнятно) может открыться тебе твой собственный второй глаз, и ты вдруг увидишь такое, чего раньше, одним глазом, не видел, и ты тогда поймешь, что был просто-напросто кривым, уродом, хотя очень умным. И очень умно рассуждал о том, чего не видел.

Этой самой простой своей задачи — увидеть мир двумя глазами — Иван просто не сознает. Люди нужны ему только как слушатели. Люди шумные, беспокойные, не умеющие прилично себя вести, не только не нужны, а прямо противны. Некоторый интерес представляют идеологи. Но Митя — не идеолог; о чем с ним говорить?

Поэтому приходится начинать с другого конца, с младшего брата, Алеши. Алеша идеолог, и очень необыкновенный, хотя еще совсем сбивающийся в словах. Алеша один из всех братьев вне власти Павла Федоровича. Он владеет тайной, нужной всем; но он не умеет передать её. Может быть, он скорее чувствует правду, чем видит её. может быть, это такая правда, которую нельзя объяснить, нельзя высказать словами, понятными каждому. Ивану приходится решать трудную задачу: понять то, что Алеша не в силах рассказать. И здесь ум Ивана отказывается работать. Во-первых, предмет, именуемый Богом, немыслим и невозможен. Во-вторых, если допустить Бога, а вслед за ним рай и ад, жизнь становится еще более нелепой. В рамках, поставленных разумом Ивана, этот тезис неопровержим. Мир — только

царство осколков. Целого нет. А если так, то зачем жертвовать одним осколком ради других? Зачем жертвовать собой? Зачем заботиться о счастье человечества?

Арифметика здесь не помогает. Конечно, миллион больше одного. И если надо «расстрелять трех, чтобы спасти четырех», как говорил Жюльен Сорель, то почему бы и не расстрелять? Да, но почему бы не расстрелять и всех семерых? Лиха беда начало.

К гармонии так нельзя подойти. Миллион и даже миллиард, согласившиеся достичь гармонии ценой одной растоптанной жизни (пусть не деточки, а взрослого, как во время дела Дрейфуса), наверняка ни к какой гармонии не придут. Трудно только *начать* жертвовать ради всеобщего блага. Дальше пойдут сотни, за сотнями миллионы, а гармония будет всё отодвигаться и отодвигаться.

Тайна в том (Иван об этом не догадывается), что осколки, не осознавшие себя как осколки, фрагменты целого, воображающие себя элементарными частями бытия, невозможно сложить в замкнутую, устойчивую фигуру.

В царстве осколков нет ничего безусловного, ничего до конца совершенного. В царстве осколков всё пытается быть само по себе, а на самом деле оказывается другим. Все перемены с осколками — пустые перемены. Они не имеют ничего общего с гармонией, свободой, с подлинным бытием. Гармония и Свобода не могут быть атрибутами осколка. Это атрибуты целого. Чтобы быть свободным, надо быть в Целом, быть Целым.

Поэтому все попытки достигнуть гармонического состояния общества, оставляя в стороне человеческую личность, душу, бесконечность души, в конце концов, ведут только к разочарованию, раздраже-

нию, злобным попыткам подчинить разуму непокорную природу и, в конце концов, — к такой вакханалии насилия, в которой тонут последние остатки разума; воцаряется дичь, бред, сравнительно с которыми старое, неразумное состояние общества кажется царством Разума, Добра и Красоты.

Такая гармония не стоит не только слез ребенка — она не стоит таракана. Это ловушка, в которую несколько раз попадал человеческий рассудок. Ловушка Утопии.

Но ведь не об этой «гармонии», не о хрустальном дворце идет речь! И конечно, не о переносе хрустального дворца в потустороннее, с теми же земными представлениями о справедливости, с той же костью в аду (только вечной) и вечным торжественно-дружеским приемом у самого Господа Бога в раю.

А о чем же? Какая еще гармония может быть? Этого именно Иван не может понять, и ломает себе голову, и сходит с ума, и в бреду своем плодит новых и новых гадов. Мерзость их дыхания, размноженная современными средствами телекоммуникации (печатью, радио, телевидением, кино) — переполняет землю.

1962 — 1963

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ

1

Говорят, что человек — животное, делающее орудия. Но орудия умели делать и австралопитеки.

Другие говорят, что человек — существо разумное. Но что это значит? Умение фиксировать частные связи? Оно есть и у животных. Понимание целого? Но оно требует знания границ своего разума.

Разум — та же плоть. Плоть, способная родить дух, способная принять образ (Божий, дьявольский?), но сама по себе — только плоть.

Без понимания своих границ разум, даже очень-очень большой, остался бы автоматом в лапах у зверя. Но перед глазами смутно мелькнуло целое, и тварь поняла, что разум бессилён схватить его. Тогда первый человек стал мастерить первую икону.

Человек — это существо, угадавшее свою незавершенность и ищущее завершения в иконе. В иконе зверя. В иконе Бога. В иконе ангела. В иконе ничто и пустоты. В иконе Будды, бодисатвы. В какой-то иконе.

Изготовление орудий развило разум животного. Но человек — это существо, мастерица иконы.

2

Почти всё человеческое знание можно разделить на три класса. Первый — это частное, техническое знание, важное для решения отдельных задач, но безразличное для понимания целого. Сюда входит

все научное знание (в смысле science); самые общие категории, которые знает наука, это только частности по отношению к целому, общие формы решения задач в пространстве и времени.

Во-вторых, это знание Целого, но неясное, недостоверное, — скорее чувство, смутное чувство связи.

В-третьих, это знание иконы, — знание двери, через которую непостижимое входит в нас и познает нас (а не мы его) в духовной нищете, в ночи разума, как Амур познал Психею. Само по себе (помимо иконы) ночное познание — не знание, оно не выдерживает света разума, не поддается переводу на дневной язык. Как только Психея зажигает огонь, чтобы увидеть бога, обнимавшего ее, узнать его как предмет, имеющий форму и границы, разглядеть отдельные черты, — всё исчезает, и душа остается одна в огромном пустом мире.

3

История культуры — это история икон. Дело веры — какую выбрать (или не выбирать никакой и попытаться увидеть целое без покровов; из таких попыток в конце концов всегда рождается новая икона, писанная красками или мысленная (дао, нирвана). Нельзя полюбить по правилам. Решает всё существо, иногда вопреки разуму...

Но есть несколько крупиц достоверного знания, общего для всех, по крайней мере — для всех ищущих. Это достоверное знание я мог бы вместить в несколько предложений: есть душевная глубина. У детей она то всплывает, то исчезает. У взрослых, занятых делом, она чаще закрывается наглухо. Но можно раскрыть свою глубину настежь, так, что

дверь уже никогда не запирается, а только притворяется, и ее всегда легко снова открыть. Тогда человек чувствует себя восполненным. Он чувствует, что сделал главное. Всё остальное — потом. Потом — есть, пить и одеваться. Сперва Богу Богово, потом кесарю кесарево.

Всё сказанное может быть проверено, — и было проверено. Оно так же бесспорно, как то, что Данте — поэт (хотя не все читали Данте и не все прочитав, поняли).

Из достоверных истин вытекают другие, менее достоверные, за которые ручается всё больше и больше логика, всё меньше и меньше — непосредственное чувство.

Любое достоверное положение можно развить и сказать, например, следующее:

— Есть душевная глубина, или высота, с которой не остается ничего, чужого, никакой разорванности, запутанности, заброшенности, отовсюду можно черпнуть понимание и любовь.

— Ребенок мягок и неустойчив. Взрослый тверд и устойчив. Твердые, устойчивые представления непроницаемы для неожиданного, чудесного. Взрослый видит не мир, а только схему мира, план-чертеж без глубины...

— Есть, пить и одеваться — необходимо. Никто не говорит, что можно обойтись без еды. Или без мочеиспускания. Можно не ходить в церковь, в консерваторию, даже в партком, но нельзя не ходить в уборную. И всё-таки уборная никогда не становится центром культуры...

4

Человек создал бога по образу своему и подобию; бог отплатил ему тем же. Нет бога без человека и

нет человека без бога (или какой-то другой незримой иконы, равносильной богу).

Всё это началось с первой капельки жизни. Уже эта капелька была образом и подобием Целого. Но она не сознавала этого. Дух — всего только отпечаток целостности в уме. Сознание целостности мира и самосознание целостности жизни — очень смутное, очень неровное, всё время застревающее на своих неловких словах. Прислушиваясь к биению Целого, дух создает свои иконы — зримые и незримые, тянется к ним как к самому Целому и пытается завершиться в них как в самом Целом. Но Целое — по ту сторону икон, по ту сторону всего, сказанного словом, по ту сторону бога. И когда икона становится идолом, дух Целого отлетает к иконоборцам, и вдохновленный святым Духом Прометей объявляет войну богам.

Носителем жизни становится разрушитель, не признающий ничего недоступного скальпелю своего разума, ничего подлинно таинственного, ничего святого. Ибо дух Целого восстает против всякой инерции, против всякого продолжения частного в бесконечность. И когда частным, продолженным в бесконечность, становится икона Целого, — ее нужно сбросить с алтаря. И когда сознание тайны становится схоластикой, сосчитавшей число дьяволов на кончике иглы, оно должно уступить первое место наукам, прямо направленным к тому, что можно взвесить и сосчитать.

Это движение духа не есть самоуничтожение. То, что уничтожается, — только голубая краска, покрывшая первоначальное тонкого древнего письма изображение. Но критика не сознает этого и пытается стереть предание о святине, оставить только

чистую доску, чтобы на ней писать письма своего разума.

Тогда она исчерпывает себя. На место религиозного догматизма и фанатизма встает научный догматизм и фанатизм. И подобно догматическим религиям, наукопоклонство раскалывается на враждебные секты, готовые сжечь земной шар, лишь бы восторжествовала их собственная, единственно истинная версия научной идеологии. В этих распрях сиентизм — как христианство в XVI-XVII вв. — сам себя подрывает. И подымается новая волна веры в Целое, и дух снова обращается к древним святыням, и заново пытается их понять.

Сумеет ли мы это? Поймем ли мы, что «бог» — только незримая икона, созданная человеческим умом, попытка передать свое впечатление от непостижимого Целого, источника жизни; что бог создан человеком, но в то же время и человек создан богом, и если рушится бог, то рушится и человек; и жить по-человечески — значит жить в боге, жить в русле религиозной традиции, свободно понятой и свободно принятой.

5

В интеллигенте незавершенность доходит до такой невыносимости, что, кажется, выход только в одном: перестать быть интеллигентом. Палеолитический человек, угнетаемый непонятными искорками человечности, хотел стать бобром, лисой, оленем и воплотил этот идеал в тотеме. Интеллигент, угнетаемый непонятными ему искорками интеллигентности, хотел стать семипудовой купчихой и поверить во всё, во что она верит, и воплотил этот идеал в сермяжной правде и в твердокаменном пролетарии, и в

белокурой бестии, и во многих других, менее известных тотемах: лишь бы без интеллигентской расштанности. А выход совсем с другого конца: в том, чтобы стать интеллигентом до конца, чтобы просветился не только интеллект, чтобы просветился и дух.

6

Нынешние лакеи, смердяковы, потеряли Бога. Нынешние интеллигенты ищут Его. Религия перестала быть приметой народа. Она стала приютом элиты. Народа (в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей) вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты и масса. Голодная — она беспокойна; накормленная, она становится самодовольным мещанством.

Принято считать, что настоящая религия — это религия крестьян. А у интеллигентов — одни порывы. Я думаю, напротив, что настоящая религия это религия Нагарджуны и Шанкары, Дионисия Ареопажита и Мейстера Экхарта. А крестьяне несовершенны в религии так же, как и в агрономии. Это не мешало им на свой примитивный лад быть хорошими хозяевами и хорошими людьми, но всё в прошлом: для человечества патриархальные добродетели безнадежно потеряны. В лучшем случае их еще можно отыскать в глухих углах Сибири, в Африке, Океании... Пока. Ненадолго.

7

Религии медленно меняются. Их день — сотни, тысячи лет. То, что для науки давно изжито, в рели-

гии еще — вчера, позавчера, иногда даже сегодня. В религии сохранилось больше предрассудков, чем в науке. Но это не значит, что в религии только предрассудки. В конце концов и наука начинала с магии, шаманской медицины и алхимии. Если она сейчас распростилась со всем этим, то потому, что наука развивалась учеными и только учеными; теория Коперника не нуждалась в том, чтобы ее понимали мужики. А религия — хранительница целостного образа человека и общества — не могла двигаться быстрее, чем двигался средний человек и в том числе средний ученый, если вынуть его из пробырки и поместить в естественную среду. Религия — с тех пор, как исчезло племенное равенство — всегда была компромиссом между философом и мужиком. Сейчас, когда мужики стали исчезать, этот компромисс в чем-то потерял смысл. То, что вчера было народным, всеобщим, становится изысканным примитивом. Приходится ездить за ним на Таити. Да и на Таити сейчас больше гостиниц, чем примитивов. И может быть, это не так плохо. Может быть, это даже хорошо. Интеллигенты всегда с трудом уживались с крестьянской, примитивной символикой. Интеллигенты всегда порывались очистить религию от магии, превратив ее в чистое созерцание, в собирание души, в школу благоговения. И сейчас для этого представилась полная возможность. Мы остались, наконец, одни, перед лицом пустоты. Нет больше народной купели, в которой Фауст омывал свою страдальческую грудь. Надо выпутываться самим, и можно сделать это по-своему.

Пока что ясно одно: мы несколько поторопились, вслед за В. Г. Белинским, порвать с церковной традицией. Я не думаю, что интеллигенция должна принять эту традицию (да и какую бы то ни было

традицию) безусловно. Но мы можем присутствовать в поле, созданном ядрами церквей, войти в дух, веющий над омертвелыми буквами, и причаститься этому духу. Возможно, люди скажут про нас, что мы унизились до предрассудков Марфы Ивановны (кухарки Ф. П. Карамазова). Это не так. Но пусть говорят: предрассудки Марфы Ивановны всё же гораздо менее отвратительны, чем рассудок ее воспитанника, Павла Федоровича Смердякова.

Москва, 1964-1966

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

*...И потому туман вдали
Роднее нам, чем род и племя,
И внятней голосов земли.*

З. Миркина

Недавно одна девушка-фольклористка выходила замуж. Невеста и ее подружки исполняли вологодский свадебный обряд. Гости старались вжиться в свои архаические роли, тысяцкий (он, кстати сказать, был евреем) делал это довольно артистично. Но всё было игрой. Старая вологодская деревня, в которой иначе справить свадьбу просто невозможно было подумать, где этот обряд, завещанный бабками, сберегли через тысячу лет — стала такой же экзотикой, как Таити. Девушки-африканистки могли бы исполнять танцы с там-тамом, а студенты-индологи — танцы Радхи и Кришны. Всё это одинаково легко входит в стены московской квартиры.

То, что было когда-то единственным, жизненно необходимым занятием, становится игрой, одной из многих игр, которую можно полюбить или отбросить. Австралийцы, бушмены, пигмеи живут тем, что собрали за день в лесу или в пустыне; мы ходим по грибы. Крестьяне вкладывают в землю всю свою жизнь; мы окапываем яблони на десяти или тридцати сотках. Это хорошая игра. В ней часто

В первых редакциях «Человек без воздуха», «Человек без прилагательного» — Автор.

Вариант «Человек без прилагательного» напечатан в ж. «Грани» № 77, октябрь 1970 г. — Ред.

больше творческого, чем в будничной умственной работе. Но можно ничего не собирать в лесу, кроме солнечных зайчиков, и это даже лучше. А грибы или яблоки продаются на базаре. Всерьез мы работаем головой за своим письменным столом. Всерьез мы живем в Вавилоне, а в Аркадию только играем.

Мы едим хлеб, сжатый и обмолоченный людьми, которых по привычке называем крестьянами, но мы не живем в крестьянском обществе, мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружать нас. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается 7 процентов населения. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные 93 процента хлебом, маслом и молоком. (В США — 300 литров на человека в год. В Индии — 6 литров. Сколько у нас — Бог весть). Даже остаются излишки, чтобы подкармливать крестьянскую Индию, где хлебопашествует 80 процентов населения.*

Фермеров в США меньше, чем студентов и профессоров университетов. Но главное то, что фермер — уже совсем не крестьянин. Это работник сельского хозяйства в научно-промышленном обществе. Он гораздо дальше от крестьянина, чем традиционный ремесленник (труженик города в обществе, костяком которого было крестьянство). Возьмем еще более крайний, еще более парадоксальный случай:

* То, что у нас в деревне — половина населения, конечно, факт; но факт скорее вчерашний, чем сегодняшний. Нельзя считать прочной социальной действительностью то, что искусственно удерживается с помощью паспортной системы. Строить на этой «почве» — значит строить на песке.

в Израиле кибуцники, образцовые сельские хозяева, у которых учатся агрономы Африки и Юго-Восточной Азии, создали лигу борьбы с религиозным принуждением. Это носители «городского» научного мировоззрения. А ремесленники, вывезенные в 1948 году на самолетах из Йемена, бросают камни в автомобили, нарушающие день субботний.

Крестьяне и ремесленники вместе берегли, как зеницу ока, веру отцов, обряды отцов и составляли народ, с народными песнями, с народной вышивкой и народными предрассудками. А что поют колхозники? Да то же, что пролетарии. Какие-то остатки крестьянского наследства, какие-то мелодии, вбитые в школе, в армии, по радио.

Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенем и чем-то еще, что еще только складывается. Но оно исчезает.

Кажется, что этого не может быть. Что народ и общество — неотделимые понятия, что народ с историей — близнецы-братья, и там, где есть общество, история, непременно должен быть народ. Но где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной, островки снега в глухих углах леса. Есть еще углы, где можно записать вологодский свадебный обряд, где доживает свой век старуха Матрена и реабилитированный Иван Денисович. Но народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гоголя — больше нет.

Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но...» Или бригады двоечников, срезавшихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить студентов, — как в Варшаве.

Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т. п., без чего нельзя представить себе XX век, создал некоторый дух солидарности в борьбе с притеснением, но ничего положительного, ничего такого, что способно оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив.

Я помню, на лекции по фольклору профессор Соколов каялся, что в бытность свою буржуазным ученым занимался только крестьянским фольклором и недооценивал пролетарский. После этого перекованный Юрий Матвеевич посвятил целую лекцию, а может быть, даже две, фабричной частушке. Запомнилась одна, в которой он нашел богатые созвучия, и главное — ярко выраженное пролетарское классовое сознание:

Инженеру Покатило
Рожу паром обварило,
Жалко, жалко нам, ребята,
Что всего не окатило!

В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами — народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности. А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынула песня, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись. Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке графоман.

Родник бьет снизу — мимо официальных писательских организаций. Но это совсем не народные низы. Скорее это верхи в смысле образованности. Пишет очень широкий слой — от шофера такси О. до математика В., но явно преобладают верхи.

Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то Ренессанс наизнанку. Тогда художники (оставаясь художниками) становились математиками. Сейчас математики (оставаясь математиками) становятся художниками и поэтами. Если правда, что нет народа без песни, то именно здесь складывается хребет нового народа — или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. И так же, как народ заменил племя, новое что-то заменит народ. И так же, как неправ бушмен, для которого переход к крестьянскому труду — святотатство, неправ и крестьянин, для которого уход от власти земли, крови, родства, «веры отцов» — святотатство. Культура,

как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа — народ — лежит, потеряв свою жизнь, в пыли. Это парадоксально только по-русски. По-английски folk (архаический народ, носитель фольклора) давно исчез и нетрудно представить себе, что people тоже исчезает.

Любопытно, что наши менестрели — какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но решительно без почвенной основы: не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих абакумовых и рюминых... Можно, конечно, называть народом любую массу трудящихся: язык без костей. Тогда слесаря и бухгалтеры, ткачихи и следователи суть народ. Песни, передаваемые по радио, — суть народные песни. А Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий — гнилые интеллигенты, подвергшиеся растленному влиянию Запада (так это, кажется, звучит на языке супруга товарища Парамоновой). Но где парамоновские обряды и плачи, песни и пляски? Где парамоновская нравственность?

Мое замечание об исчезающем крестьянстве, высказанное впервые в полемике с М. А. Лифшицем, шокировало почвенников.

Но что делать! Не я придумал (это сделала история), что крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод. Я не виноват, что сейчас обществу выгоднее большую часть сил тратить на умственную работу, а совсем малую — на обработку земли.

Во-вторых, численно второстепенная группа не означает группы, без которой можно обойтись, от

которой можно отвлечься. Мои оппоненты, видимо, стихийно исходят из архаической модели народа, в котором крестьянские общины, живущие натуральным хозяйством, могут веками обходиться без города, а город без них и году не проживет. Сейчас такое общество сохранилось только в джунглях. Сейчас все группы зависят друг от друга, и в этом едином обществе ни одна группа не в праве считать себя коренной. Вопрос можно поставить только так: какая группа, добившись того, чего она хочет, способна изменить к лучшему все общество? Крестьянство или интеллигенция?

На этот вопрос ответил опыт Польши и Чехословакии.

В 1956 году Гомулка распустил большинство колхозов и дал крестьянам окрепнуть. В результате восстановлено было консервативное село, и на него сегодня опираются самые реакционные в Восточной Европе «кадры». Напротив, в Чехословакии в январе 1968 года победила интеллигенция, добивавшаяся, прежде всего, свободы слова. Казалось бы, какое дело до этого рабочим и крестьянам? Но интеллигенция немедленно растолкала все общество, и вся страна пришла в движение. Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. Поэтому и только поэтому я против чрезмерного акцента на важности деревенских проблем, на трагедии крестьянина. Трагедия бесспорна. Деревенские проблемы надо решать. Но если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме.

Интеллигенция может быть средоточием всех земных пороков. Но только в ее среде возникает требование свободы слова. Только в ее среде живет Самиздат. Ни рабочий класс, ни крестьянство, ни бюро-

кратия не нуждаются в свободе слова так, как ученый и писатель. Поэтому люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века.

Группа, второстепенная с точки зрения социолога, может быть, однако, первостепенной для писателя (например, бедные белые Юга США для Фолкнера), и писатель может раскрыть в жизни этой группы величайшие духовные ценности. Я горячий поклонник «Матрениного двора». Но я против переноса в современность комплекса неполноценности, с которым русский кающийся дворянин прошлого века подходил к мужику (или птичнице):

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой...

Нельзя подходить к современному учителю или врачу с мерками Некрасова и корить его легкой работой. Работа интеллигента (если говорить о миллионах, не имеющих ученых степеней) совсем не легкая, совершенно необходимая для общества (успевшего с XIX века сильно измениться) и оплачивается в нашей стране из рук вон плохо. Я не могу согласиться с противопоставлением ученого птичнице в «Письме физику» (ходившем одно время по рукам). Я не думаю, что ученый непременно должен испытывать угрызения совести перед птичницей — так мало он работает, сравнительно с птичницей, и так мало действительной пользы людям приносит его труд. Я не хочу сказать, что ученых не подкупают, не prostituteуют. Это делается, и достаточно часто (так же, как в деревне, где покупают и prostituteуют «знатных доярок», героев социалисти-

ческого труда и т. д.). Я не хочу сказать, что ученые всегда заняты полезным делом. Достаточно часто они занимаются делами, ничуть не более полезными, чем сверххранний сев и другие начальственные затеи.

Я глубоко сочувствую попытке вызывать у протитулируемых ученых угрызения совести. Но почему только перед птичницей? Почему не перед учительницей, слепнувшей над тетрадками, не перед загнанным амбулаторным врачом? В подчеркивании ответственности перед птичницей (по некрасовскому образу) есть своя опасность (отсутствовавшая в некрасовские времена). Эта опасность в том, что поддерживается народный предрассудок, по-старому смешивающий всякий умственный труд с барством, и сталинская политическая традиция, основанная на этом предрассудке: 1) всякий человек с авторучкой называется интеллигентом; 2) народная ненависть, вызванная некоторыми людьми с авторучкой, поровну раскладывается на всех; 3) в критические минуты некоторые люди с авторучкой тактично забывают, что сами себя называли интеллигентами, и в качестве *слуг народа* науськивают массы на действительную интеллигенцию, ищущую чего-то лучшего.

Совершенно необходимо улучшить положение птичницы, скотницы, тракториста, но не их одних! Проблема птичницы имеет нравственную первоочередность, если птичница голодает, а работники умственного труда получают несправедливо много. Но такое положение существует только в слаборазвитых странах и исчезает вместе с развитием. Вот соответствующая таблица:

Недельный заработок в долларах

Профессия

Город	Строитель	Бухгалтер	Секретарша
Нью-Дели	3,33	40,00	18,50
Бейрут	20,00	180,00	115,00
Мадрид	28,00	42,00	53,00
Белград	25,00	40,00	30,00
Токио	44,00	40,20	50,00
Стокгольм	122,64	94,64	88,02
Нью-Йорк	248,00	127,50	125,00

Отвлекаясь от местных различий в оплате мужского и женского труда и от особенностей Ливана (в котором буржуазия получает гигантские сверхприбыли на блокаде Израиля и делится этими прибылями с ближайшими служащими, но не с рабочими), можно заметить, что в развитых странах умственный труд перестает быть привилегией барства, становится рядовой профессией и оплачивается хуже, чем квалифицированный ручной труд. Чувство вины перед народом, естественное в Нью-Дели, теряет смысл в Токио, становится нелепым в Стокгольме.

Какое положение занимает в таблице Россия, трудно сказать. Во всяком случае, от Индии мы давно оторвались. Остальное — дело времени и технико-экономического прогресса. Именно технико-экономического: структура зарплаты в Югославии и в Испании, политически несходных, почти совпадает (в Испании, пожалуй, больше уважают женщин).

Поглядывая на таблицу, хочется сказать, что есть

много тяжелых и неприятных форм умственного труда. Развитие науки, освободив мышцы, так перегрузило голову, нервы, что миллионы людей приходится брать на учет к психиатру. Я не думаю, что труд инженера-экономиста веселее косьбы. Не надо считать человека благополучным просто потому, что он работает под крышей и страдает от головной боли, а не от мышечной усталости. Если городскому человеку нельзя есть яичницу без угрызений совести, то ведь, пожалуй, нельзя и на стульчак сесть без угрызений совести (перед ассенизаторами, например. Страшно подумать, во что превратился бы современный город без ассенизаторов. Легче было бы обойтись без многого другого).

Птичник, который волнует сейчас многих, отвратителен. Но ведь это ад не только для людей, но и для кур. Это очень плохой птичник. Наша страна импортирует битую птицу и яйца — своих не хватает. Как, впрочем, и хлеба в иные годы. Никакой всемирно-исторической необходимости в этом нет, просто порядок, заведенный в сельском хозяйстве, очень плох, и надо ввести какие-то другие порядки, проверенные опытом других стран.

Мы еще не выполнили свой долг перед птичницей. Но по крайней мере известно, как это сделать. А как быть с младшим научным сотрудником Акакием Акакиевичем, пожизненно осужденным готовить бумаги Значительному лицу? Этого никто не знает, и мы в потемках ищем ответа, одновременно с Европой и Америкой, которые по крайней мере о птичнице могут не думать. Потому что мы не только страна плохих, неэффективных колхозов, но и страна эффективных ракет. И наряду с провинциальными задачами, общими для слаборазвитых стран, мы вынуждены решать и задачи современные, «модер-

нистские». И мне бы хотелось, чтобы мы не забыли об этой стороне дела, требующей больших усилий мозга (потому что это как раз сторона неразведанная).

Что бы ни творилось в деревне, как бы ее ни калечили, большинство сельских работ по природе своей здоровее и веселее, чем работа в горячем цеху или поиски ошибки в платежной ведомости. Толстой косил, ходил за плугом, но я не видел человека, который по своей охоте шел бы делать из вонючей резины галоши или редактировать библиографический указатель. Примитивные формы труда основаны на живом внутреннем ритме или на прислушивании к ритму окружающей человека природы. Они сохраняют свою ценность и тогда, когда теряют экономический смысл. Мы не жалеем потратить целый день, чтобы поймать несколько рыбешек, вырациваем в комнате лимоны, печем в духовке пироги (хотя кондитерская за углом) и прочее. К сожалению, основная наша работа совсем другая — механическая, опустошающая. Только очень небольшое меньшинство способно получать деньги за творческий труд. Я к этим счастливым не отношусь, и то, что давало смысл моей жизни, делал бесплатно, а работал грузчиком умственного труда, почтовой лошадью. Уверяю вас, господа почвенники, — это не синекура.

Что же делать? Один мой знакомый сказал, что из искусственного положения приходится искать искусственный выход. Такой выход — сервис, то есть компенсация за потерянные нервы. Мышечную силу можно было нахлестывать кнутом, силу ума — только пряником. Начиная с парикмахерской, в которой три мастера ждут одного клиента, кончая музыкой, поэзией, живописью. Спешу оговориться:

речь идет не об одной ученой элите. Это общий уровень человеческих отношений, на который вышли все северные страны (кроме нас) и к которому быстро приближаются страны, расположенные южнее (Италия, Япония, Израиль).

К сожалению, и этот уровень недостаточен. И на нем главная проблема остается нерешенной: проблема духовного вакуума.

Теплый хлеб с холодильником, автоматической подачей корма и зелеными лугами по телевизору, был бы совершенно достаточен для скотины, но человек, попавший в этот рай, не чувствует себя счастливым. Он работает, хорошо работает, он много производит и много потребляет, но ему потихоньку становится тошно. И тогда он норовит поддать пинка роскошным автоматическим устройствам, на которые с такой завистью смотрят народы. Азии, Африки и Латинской Америки. Народы, узнавшие из голливудских картин про сладкую жизнь, но не научившиеся еще организовывать жизнь по-американски и обвиняющие в своей бедности империалистов, сионистов и советских ревизионистов.*

Северные страны решили экономическую проблему, создали пролетариям в синих и белых воротничках буржуазную жизнь, лечат пролетариев в хороших лечебницах, дают возможность провести отпуск на взморье, — словом, сделали всё, на что способна хорошо развитая наука. Но наука не может научить пролетария чувствовать ритм облаков

* Слаборазвитые страны нуждаются в самой энергичной и скорой помощи. Но не надо психологически поддерживать голодные истерики. Один из важнейших видов помощи Азии и Африке — борьба с их иллюзиями и предрассудками.

на заре и повторять его на свирели, как делал пастух в холщовых портах, никогда не видевший си- него моря.

Наука знает очень много вещей и может узнать еще больше, но смысл жизни — это не вещь. Его нельзя ясно очертить, его нельзя «формализовать». Он дается, может быть, мудрости, но мы совсем забыли, что такое мудрость. Мы умеем готовить хороших ученых, но у нас нет даже посредственных мудрецов. Мы точно, научно, изящно решаем точно очерченные проблемы — и стоим в тупике перед целым: голову вытащим — хвост увязнет. Хвост вытащим — голова увязнет.



Основных проблем, вставших перед человечеством, мы в нашей стране давно не сознаем.

Борьба с местными нелепостями провинциализировала наш дух: это видно даже по лучшим произведениям нашей литературы. Подобно Испании XVII века, мы боремся с трудностями, которые сами себе создаем, и постепенно изнемогаем в этой борьбе.

Мы всё еще (как в XIX веке) считаем экономику первичной, строим домны, когда нужна химия, и большую химию, когда нужна эстетика, чтобы стимулировать серое вещество мозга. Мы загородились пограничниками от утечки мозгов и не замечаем, что мозги уходят во внутреннюю эмиграцию. Мы всё время догоняем по заброшенной дороге, всё время исходим из постулата, что история идет по прямой, а она кривая, она меняет направление.

Есть любопытные социологические законы, например, — закон постоянного упадка удельного веса труда, прямо связанного с удовлетворением элемен-

тарных потребностей, и выдвижения всё более далеких от домоводства форм деятельности. Физикраты ошиблись, думая, что крестьянский труд навсегда сохранит доминирующее положение в обществе. Экономисты XIX века ошиблись, думая, что такое положение сохранит промышленный труд. Сейчас на первое место выдвинулось производство научно-технической информации, но было бы наивно думать, что это конец, за которым невозможны никакие другие сдвиги. Они не только возможны, но прямо необходимы. Рост значения умственного труда вызывает новую задачу — производства творческого состояния, производства такого состояния мозга, при котором он решал бы свои задачи играя. Так же, как мощная промышленность удесятеряет силы земледельца, сфера, занятая производством творческого состояния, удесятеряет силы физика или математика и делает ненужным загонять в учебные половины населения. Это очень широкая сфера: спорт, туризм, искусство, обрядность, психотехника йоги или дзэн. Можно вспомнить слова одного из образованнейших людей XX столетия О. Хаксли: заниматься мистическими упражнениями так же полезно, как чистить зубы.

Во-вторых, есть закон падения удельного веса доминирующей формы труда. Бушменский род целиком занят охотой и собиранием съедобных корешков. В крестьянских нациях 80-90 процентов населения заняты сельским хозяйством. Удельный вес пролетариата не превысил 50-55 процентов и в США начал падать (в настоящее время до 37 процентов самостоятельного населения). Маловероятно, чтобы количество ученых когда-нибудь достигло и трети населения. Старые занятия не исчезают. До сих пор есть профессиональные охотники, рыболовы. Нику-

да не денется, а только отодвинется в тень, и земледельческий, и промышленный труд, и организация порядка, бюрократия (в веберовском, а не ругательном смысле этого слова). Одновременно появляются новые и развиваются старые «занаучные» формы деятельности (т. е. еще более далекие от экономики). Общество становится всё более плюралистическим, всё более сложным. Ничего подобного старому монолитному народу впереди не маячит. И ни ученые, ни какая-либо другая группа производителей вакантного места народа не займет.

Производство вообще перестает быть главным человеческим делом. Даже производство формул. Мы стоим перед великим поворотом. Забота о пропитании в развитых странах отодвигается на второй план. И вместе с этим на второй план отодвигается борьба за власть над природой. С тех пор, как средний человек и при нынешней власти над природой не знает, что делать со своим досугом, и бунтует, как американский битник, не от голода (он сыт), а по каким-то другим, психологическим мотивам, — дальнейшее расширение власти над природой теряет право первородства. Приходится напомнить, что никакая власть не дает счастья. В том числе и такая утонченная власть, как знание. Мы счастливы скорее тогда, когда всё забываем. Никакая наука не научит нас, чем заполнить свой досуг. «Цивилизация досуга», о которой сейчас много говорят и пишут, это не цивилизация науки.

Устойчивость всякой культуры и внутренняя устойчивость личности основаны на равновесии дела и праздника. В идеале они сливаются:

Непостижимо то, что Господом зовут.
Его покой в труде, в Его покое труд.

Божество, каким Его представлял себе Ангелус Силезиус,* в каждый миг созерцания действует и в каждый миг действия остается погруженным в праздное созерцание.

Но обычно дело и праздник выступают каждый сам по себе. Дело — функция ослабленной единицы (личности или группы людей). Праздник — подхваченность волной, в которой тонет, смывается всё личное или узкогрупповое, ясно очерченное, закрепленное рассудком.

Обнимитесь, миллионы!

Были эпохи, ценившие праздник выше дела. Самая близкая нам началась со слов Христа: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом...» (От Луки, гл. 10, 41). Праздную Марию Иисус поставил выше деятельной Марфы. И в течение всех средних веков люди жили под знаком этой притчи, не придавая большой ценности делу. Не сходить на праздник в церковь считалось гораздо большим грехом, чем плохо работать.

Однако Иисус сеял в вечности. Во времени Его семена падали на каменистую почву. Даже столпников надо чем-то кормить, а способы возделывать землю Христос не изменил. И по мере того как равновесие праздников и будней, нарушенное при распаде племенных культов, было восстановлено, — дело снова поднялось в цене. По крайней мере в Европе, сохранившей закваску римских деловых людей. На рубеже XIV в. Мейстер Экхарт пересказывает притчу о Марфе и Марии на свой лад. Из глубины созерцания, — говорит Экхарт, — рождает-

* Немецкий поэт XVII века.

ся новый порыв к действию. Этот порыв выше пассивного созерцания, Марфа выше Марии. Созерцание только ступень, на которой деятель освобождается от суеты, от себя, раскрывается перед Богом. Когда же Бог наполнит душу, наступает второй час действия, действия, вдохновенного Богом (примерно так, как это описано в пушкинском «Пророке»).

Таким пророческим движением Макс Вебер считает европейский протестантизм (мистика которого, говорят, связана была с традицией Экхарта и других еретиков средневековья). А из него, по Веберу, выросло всё Новое время... Может быть, на самом деле оно сложилось и не по Веберу. Но поворот к делу действительно наступил. Прошло несколько веков, и Гёте поставил Дело взамен самого Слова Божьего. Фауст дерзко переводит «Логос» немецким «Tat» — дело, деяние, поступок.

Еще через сто лет это было пересказано прозой: «Философы только объясняли мир. Задача заключается в том, чтобы его переделать».*

...Оглядываясь назад, можно увидеть, что Новое время было только последней волной длинного процесса «рационализации» человеческих отношений к миру, начавшегося давным-давно, где-то в глубинах каменного века (и только пошедшего в Новое время скорее). По крайней мере несколько тысяч лет, всю историю цивилизации человек учится работать. Он еще сейчас учится в слаборазвитых странах. Но в Европе усердный ученик исчерпал себя. Современный поэт не повторит слова Фауста: «В начале было Дело!» Скорее он скажет вместе с О. Мандельштамом:

Есть блуд труда, и он у нас в крови...

* К. Маркс. 11-й тезис о Фейербахе.

Говоря о терминах Маркса, мы слишком хорошо усвоили 11-й тезис и слишком мало думаем о другой, более глубокой мысли, изложенной в третьем томе «Капитала»: «Царство свободы начинается по ту сторону производства, диктуемого нуждой и материальной необходимостью...»

С этой точки зрения, чисто деловой подход к «производству творческого состояния», который я изложил, оказывается недостаточным, мелким. Праздник нужен не для чего-то, а для самого себя. Именно в нем, а не в работе, человеческая душа достигнет своей естественной или божественной широты.

Я праздник твой, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо!*

Но праздник есть только там, где есть благоговейная отдача себя чему-то высшему, чем дело. Праздник невозможен без по крайней мере *минуты* благоговения. Отнимите у Нового года — единственного праздника, который у нас остался, — минуту благоговения, какого-то мистического трепета перед стрелкой часов, подошедшей к двенадцати, и праздника не будет. Останется только пьянка. А иногда, перед пьянкой, — официальная скука.

Всё это относится к внутреннему празднику, к «празднику, который всегда с тобой», по выражению Хемингуэя. Если нет чувства святости природы, то что останется от вечерней зари? Время, в которое можно пройтись с похабной частушкой. Если нет отношения к женщине, как к святому причастию, то что останется от праздника любви?

Равновесие дела и праздника сохранилось в при-

* Марина Цветаева.

митивных культурах, племенных и народных. В этом их неувядаемая прелесть. Но это — обрядовое равновесие, тесно связанное с исчезнувшими и исчезающими формами труда. То, что могло войти в городскую цивилизацию, уже вошло в церковную обрядность, и возвращать ее назад к язычеству невозможно. Достаточно прекратить травлю церкви, восстановить естественную роль ее в современной культуре, по примеру других цивилизованных стран. Но в современных условиях едва ли не важнее всего внутренний праздник, а его как раз народу не хватало. Созерцание природы, созерцание искусства, любовь — все это совершенно не народно. По крайней мере в России. Есть, конечно, Япония с ее любованием цветущей вишней и горой Фудзи, — но это экзотика. Любовь?.. За народностью любви пришлось бы ехать в тридевятое царство, в тридесятое государство — к племени ансаритов в древней Аравии.

Я из рода бедных азра.
Полубив, мы умираем...*

Трубадуры, миннезингеры — это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У нас — одна из вольностей дворянских. Мужичье отношение к любви недавно напомнил нам А. И. Солженицын: «Женятся для щей, замуж выходят для мяса».

То, что было у нас в народе хорошего (правда — истина — справедливость) — в обломках. По народной же поговорке, на том месте, где была совесть, вырос... (знатоки народности заполнят здесь пробел).

* Г. Гейне.

Все тяжелое, тупое, темное надежно опирается на массу персонажей Галича, Высоцкого и Олешковского, массу, духовное состояние которой выражено в «Советской пасхальной»:

...Давай закурим опиум народа,
А он покурит наших сигарет.



Заговорив о любви к дальнему, о любви к чужому, я вступаю на опасную дорогу. По правилам, установленным для варшавских студентов, можно любить только одну нацию. Так же, как можно болеть только за одну футбольную команду, одну балерину, одного тенора. Лучше всего — передавая эту простую однозначную привязанность по наследству. На худой конец — корпорация болельщиков может усыновить вас. Но ни в коем случае нельзя болеть за две, три, пять команд сразу. Это космополитизм. Идея интернационализма остается вне спорта (о догмах не спорят), но *чувство* может быть только простым, однозначным. Или вы за «Торпедо», или за «Спартак». Если вы чувствуете своими одновременно Польшу и Израиль, то «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»,* потому что это противоречит психологии футбольного болельщика, а другой, более сложной психологии пан Гомункулус не понимает. Тот, кто привязан более чем к одной традиции, с его точки зрения, не любит ни одной.

И вообще, о чем говорить? Духовный кризис? Но классиков издают миллионными тиражами. Упадок культуры? Но Литфонд, Худфонд и прочие фонды

* А. Чехов.

выдают инженерам человеческих душ большие субсидии. Остается только развести руками и смолкнуть, как Достоевский, пересказав историю гоголевского поручика Пирогова. Тут простодушие, которое ставит в тупик. Никакого противоречия между научно-техническим и духовным развитием функционер не чувствует. Он твердо идет по намеченной колее, как И. В. Сталин, как паровоз, тянущий за собой целую кучу вагонов. Он просто не понимает, что все прямые дороги истории ведут в тупик, что железная воля кончается грудой железного лома. В этой тупости деятеля (отмеченной еще в «Записках из подполья» — секрет «чудодейственной воли» сталинистов, воспетой Горьким, воли, перед которой трепетали размагниченные интеллигенты, воли, по которой до сих пор тоскуют многие простые люди России. Есть только одно направление развития, одна колея. Техника в период реконструкции решает всё. И нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.

На строительство школ, техникумов, университетов расходуются миллиарды. Количество людей, получивших среднее и высшее образование, — растет. Интеллигенция имеет ясную и простую задачу — помогать развитию экономики, а также помогать функционерам крепить духовное единство (болеем за *нашу* футбольную команду, *наше* правительство *наши* органы охраны порядка).

Других, непонятных невеждам, духовных потребностей нет, потому что народ этих потребностей не имеет (в этом пункте пан Гомункулус отчасти прав). Крики о духовном голоде — романтическая чушь, происки классового врага или беспокойство евреев, которые вовремя не уехали в Израиль и поэтому сами не могут по-человечески жить и других сби-

вают с толку. Мы дадим им паспорта — пусть едут в Израиль.

...А если я не хочу ехать? Если я кровью связан с этой страной, но люблю и другие? Если

Слаще пеня итальянской речи
Для меня родной язык,
Потому что в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник...*

Что же мне делать тогда, пан Гомункулус? Если правы вы, для меня нет места на земле. Если я прав — вы динозавр, и место ваше в палеонтологическом музее.



В марте 1968 года в Польше (если судить о ней по прессе)** возникла прискорбная, но математически очень красивая ситуация (трагическое вообще «красиво», эстетически ценно). На одной стороне — интеллигенция, томимая духовным голодом XX века. На другой — все остальные, для которых шляхтичи, неспособные примириться с хлопским руководством культурой, просто с жиру бесятся. Поражение интеллигентов можно было предсказать: духовные интересы никогда еще не побеждали в таком чистом виде, без смеси с чем-то вполне материальным, без союза с буржуазией, пролетариатом или кем-нибудь еще. Сами по себе Турбины могут только красиво погибнуть. Но зато в предельной ситуации (которой

* О. Мандельштам.

** На самом деле, говорят, положение было иным, более сложным.

не дай нам Бог!) есть огромное теоретическое преимущество: видно, что собой представляет интеллигенция в чистом виде, без примесей, интеллигенция сама по себе.

Это часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу. И если считать, что процесс гоминизации, очеловечения человечества еще не окончился и что это важнейший процесс истории, то интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент, движущий историю. Если ему удастся вызвать брожение не только в себе.

Один из моих друзей заметил, что этого слоя теперь нет. Что если исчез народ, то интеллигенция тоже исчезла; что человек в обеих своих формах, любимых Монтенем, — и как философ, и как простой мужик — сейчас выводится, растворяется в массе. Однако масса — это только полуфабрикат, аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами, между двумя устоявшимися системами ценностей. Был век Перикла, потом наступил век отцов Церкви, а между ними — римская масса. И нынешняя масса вполне может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы. Вот эту роль веточки, опущенной в перенасыщенный раствор, я отвожу лучшей части интеллигенции. Я не говорю, что интеллигенция вся есть эта веточка, этот стержень. Я просто верю, что она может измениться и потянуть за собой других. Я убежден, что другого выхода нет, что человеческая веточка скорее возродится как полноценный интеллигент,

чем как оперный мужик. И масса может заново кристаллизироваться в народоподобное* только вокруг новой интеллигенции, создавшей в себе самой новый духовный стержень. Мне кажется, это подтверждает пример Чехии. Достаточно сравнить, чем она была в 1952, в 1956 и чем стала в 1968 году.

Словом «интеллигенция» сейчас называют слишком много разных явлений. С точки зрения нынешней русской кухни, использующей интеллигенцию как начинку для своих кулебяк, интеллигенция — это фарш, который можно любым способом сварить на пару, изжарить, обвалить в тесте, испечь и, наконец, с перепоею, жрать сырым, с кровью, в собственном соку. Но даже отвлекаясь от этих нарушений законности, понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни еще не устоялась.

Иванов-Разумник определял интеллигента как критически мыслящую личность. Министр внутренних дел фон Плеве говорил, что «интеллигенция — это та часть нашего образованного общества, которая с наслаждением подхватывает всякую новость и даже слух, клонящиеся к дискредитированию правительственной или духовно-православной власти; ко всему же остальному относится с равнодушием». Словарь Вебстера расшифровывает слово «интеллигенция» так: «русские интеллектуалы, обычно в оппозиции к правительству». Были попытки определить интеллигенцию как читателей «Нового мира», как читателей Самиздата, как людей, способных вырабатывать и сохранять собственное мнение, несмотря на любые усилия пропаганды (возврат к Иванову-Разумнику). Во всех этих определениях есть

* Снова вспомним: folk — people?

общая черта: проводится граница, и то, что лежит по одну сторону ее, объявляется интеллигенцией, а то, что по другую — нет. Получается примерно такая структура образованных слоев: 1) кадры, вросшие в государственный аппарат и болеющие за интересы этого аппарата как за самих себя (потому что они и есть государственный аппарат); 2) мещанство, более равнодушное к общим делам и болеющее скорее за свои мелкие делишки, а также за игрушки, которые ему дают: за «Динамо», за «Спартак», за наших советских космонавтов, за наш национальный престиж (разница между мещанином и «кадром» в оттенках: то, что для одного главное, для другого второстепенное); 3) интеллигенция, болеющая за то, что не положено, что не подсказано газетой, радио, телевидением.

Эта статическая модель годится для описания современного положения в России, но совершенно не объясняет таких социальных сдвигов, как в Чехии, когда даже известная часть кадров, даже большинство ЦК становится интеллигентным. Поэтому приходится строить другую модель: интеллигенции без границ, интеллигенции как излучения, имеющей свой центр, свой максимум интенсивности, но принципиально не имеющего пределов. Центр интенсивности — это даже не прослойка, а кучка людей, о которых я говорил выше как о пионерах на пути от зверя к Богу. Это очень узкий круг мужчин и женщин, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры, затоптанные в деловой спешке (открывать или развивать заново, а не только «критически мыслить»). Затем следует относительно широкий круг людей, занятых своими профессиональными задачами, но неспособных заниматься ими без внутренней тревоги и страдания за

судьбу человечества, нации, угнетенных, культуры, искусства, религии, истины, справедливости, — иногда даже одной какой-то ценности, при слабой чувствительности к другим (есть интеллигенты истины, интеллигенты справедливости и т. п.). Это, так сказать «одушевленная интеллигенция» (или собственно интеллигенция, если жестко провести границу). Далее следует интеллигенция неодушевленная, в этическом отношении ничем не отличающаяся от мещанства, но более развитая интеллектуально и поэтому способная понять цели и ценности одушевленной интеллигенции и несколько одушевиться ими, если обстоятельства это разрешают, если это не очень опасно и отчасти выгодно. Без потенции к одушевлению можно было бы вовсе не считать ее интеллигенцией, а назвать как-то иначе (специалистами, например); но потенция существует. Когда интеллигентность в чести, неодушевленная интеллигенция окружает мэтров снобистским почитанием и вешает в гостиной «Подсолнухи» Ван-Гога. Когда интеллигентность не в чести — усваивает мораль буйвола, строит газовые камеры для упразднения мэтров, а в гостиной вешает что-то вроде «Трех богатырей».

Модель излучения хорошо описывает сдвиги к лучшему, процесс расширения интеллигентности. В рамках этой модели «кадры» постепенно пропитываются интеллигентностью и ведут себя как прочие интеллигентные специалисты, как группа специалистов-администраторов. В духовном отношении они ни на что не претендуют. Однако модель № 2 никак не объясняет сдвигов к худшему — к фашизму, например. Она не объясняет, почему интеллигенция, начав борьбу под знаменем свободы, так часто приходит к шигалевщине. Почему чуть ли

не половина гауляйтеров — бывшие учителя (гимнастики, впрочем). Почему все диктаторы — неудавшиеся творцы, бездарные художники (Гитлер), писатели (Насер сочинил роман), поэты (Сталин, Мао). Первый же из них — ангел, позавидовавший Богу.

Тут нужна еще одна модель — модель грехопадения, модель сужения интеллигентности. С тех пор, как впервые зашаталась традиция и возникло независимое личностное мышление, по страницам истории идут два противоположных типа мыслящей личности. Один видит целое, другой — только частности (группируя их в абстрактные классы). Один пытается осознать традицию,* другой отбрасывает ее. Один видит в каждом человеке то же, что он увидал в себе, и хочет изменить мир изнутри. Другой чисто интеллектуальный, духовно мелкий, делит людей на умных (как он сам) и глупых, и хочет управлять глупыми (для их же блага), как упряжкой коней. Человек для него — все равно что кусок дерева в руках ремесленника, кусок, который можно как угодно обтесать. Второй тип впервые отчетливо показал себя в Китае (Шан Ян, Хань Фэй), но в нем нет ничего специфически китайского. Можно обнаружить его в божественном Платоне, авторе «Пира»: он же, как известно, автор «Государства» — первой тоталитарной утопии Средиземного моря.

Личностное мышление интеллигента несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста. Победа интеллигенции над традицией — это возможность новой, более высокой степени свободы и нового, более страшного рабства. Интеллектуальная свобода — что-то вроде атомной энергии. Она может

* «Не нарушить, а исполнить»; нарушить букву, но спасти дух.

служить и добру и злу, может спасти мир и погубить его.

Надо сознавать этот риск, на который идешь, отстаивая дело свободы. Надо понять, что свобода, не сопряженная с внутренним преображением, необходимо кончается шигалевщиной.

Таким образом, я рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша. Интеллигенция, как и все человечество, не избежала первородного греха; и умственное развитие само по себе только увеличивает способность к злу. Но только интеллигенция способна ориентироваться в нынешнем сложном обществе. Святая простота не разберется в обстановке и опять принесет «вязанку дров, как лепту на костер».* Мой избранный народ плох. Я это знаю. Но у меня, как у Иеговы, нет выбора: остальные еще хуже.

Остается подставить интеллигенции зеркало и показать ей, какая она есть. Духовная незащищенность, отказ от привычных ориентиров во времени и в вечности, опора только на самого себя, на свою собственную глубину — все это утомляет, становится невыносимым; от этого хочется бежать, как от чумы, от холеры, от сифилиса; вселиться в семипудовую купчиху и поверить во все, во что она верит. Добрая половина образованного общества готова ухватиться за что угодно. Лишь бы был твердый человек, твердый принцип, твердая традиция. Гомункулизм, сталинизм и прочее — всё это частные случаи, отдельные нарывы, а болезнь крови — в неспособности обрести Царство Божие, которое *внутри нас*.

Человек, потерявший ориентацию в линияющем

* Тютчев. Стихотворение «Ян Гус».

мире, только очень редко схватывается за то, что само по себе вечно. Чаще он привязывается к руководству людей, знающих тайну, к церкви или еще к какой-либо школе благоговения и ищет прикосновения к вечности в обточенных веками обрядах. Еще чаще привязываются к примитивам, не порвавшим еще с целостностью жизни, — к народам, племенам, животным.

Всё это отчасти хорошо. Можно многому научиться у простых, не испорченных высшим образованием людей, у животных, у деревьев, у облаков. У моря — его широте. У деревьев — их осанке, их стремлению к свету. У птиц — их инстинктивной способности отвечать солнцу. У животных — безыскусственности крика и движения. У архаических племен и народностей — внеличной соборной мудрости...

Двигаясь по лестнице образованности, мы не только приобретаем (сложность, утонченность), но и теряем (простоту, цельность). Нельзя двигаться вперед непрерывно, потому что наше «вперед» условно, горизонтально, в нем нет верха, в нем забывается движение вверх — к абсолютной простоте. И если мы каждый день и ночь не возвращаемся к своему истоку, к абсолютно простому, если мы забываем о нем, то время от времени прогресс сменяется романтической реакцией, и вкус к классически развитому, расчлененному сменяется вкусом к нерасчлененному, простому, примитивному. Это так же естественно, как движение маятника, и только М. А. Лифшиц способен объявить маятнику войну.

Но... тут есть некоторые «но». Страсть к примитивному имеет и свои патологические формы. Наиболее свободна от них любовь к природе, к животным. Друзья говорили мне, иногда в шутку, иногда всерьез, что собаки или кошки гораздо лучше лю-

дей. Но никто из знакомых мне кошатников или кошатниц не орал в марте, как кот, и никто из знакомых собачников не вырывал у соседей кость изо рта. Есть какой-то незримый порог, мешающий человеку встать на четвереньки. Как-то само собой получается, что у деревьев, у собак и кошек учатся тому, что обогащает нашу человечность, а не портит ее. Любовь к народу в этом смысле гораздо опаснее. Никакого порога, мешающего встать на четвереньки, здесь нет.

Тут опять-таки есть «но»: есть примитивизм, расширяющий сердце, и примитивизм, сужающий сердце (как, помнится, Гейне говорил о патриотизме, французском и немецком). Вкус к примитивам не опасен, если вы любите всякие, а не только свои примитивы; тогда в самой своей любви к ним вы остаетесь на современном человеческом уровне, вы не проникаетесь чисто примитивной нелюбовью к чужим примитивным (и не примитивным) культурам. К сожалению, самая естественная из страстей — страсть к своему народу — легко становится злокачественной. К ней легко примешивается политический расчет, надежда опереться на толпу (которой вы льстите), чтобы кого-то вытеснить с теплого места. И тогда эта любовь к своему народу, к своей нации, к простым людям без всех этих интеллигентских штучек — становится гнусностью.

Миф о народе был основательно разрушен в «Белой гвардии» М. Булгакова, в столкновении народа без интеллигенции с интеллигенцией без народа. В «Собачем сердце», если перевести гротеск на язык социологии, вносится разъяснение: народ хорош, пока он неподвижен, не втянут в историю, остается патриархальным Шариком. Взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становит-

ся массой, глиной в руках бесов. «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».*

И все же миф о народе пытаются возродить, вероятно, по той же причине, по которой югославские партизаны ободряли себя частушкой:

Не боимся ваших авионов:
Нас и русских двести миллионов!

Чувство единства с миллионами ободряет, как сто грамм перед атакой. Но что потом? Потом интеллигенты, облачившиеся в пролетариат, в народ и прочие сермяги, истребляли интеллигентность в себе и вокруг себя во имя своего фетиша...



Интеллигенция не может проходить мимо политических событий, затрагивающих ее нравственное чувство. Не всякое политическое выступление есть политика. Как бы ни был этически окрашен первый политический шаг (демонстрация, протест), политика имеет свою логику (так же, как наука, искусство, воспитание детей и т. п.; каждая требует человека целиком). Погрузившись в политику с головой, интеллигенция неизбежно приходит к отказу от того, что ее толкнуло в политику, — к утрате сознания, что есть ценности, более высокие, чем любая политическая победа или поражение. Особенно опасно положение интеллигенции в стране, где ее и близко не подпускают к власти. В нормальных для развитых стран условиях ученый, писатель, режис-

* А. Пушкин. «Капитанская дочка».

сер просто не хочет стать министром, ему больше нравится его собственная работа. А запретный плод сладок. Пытаясь схватить его, часть интеллигенции совершает внутреннее грехопадение, превращается в политическую контрэлиту. Этот процесс довольно хорошо прослеживается в истории России, и нет никаких гарантий, что он не повторится.

Первый шаг к метаморфозе радикальной интеллигенции — возникновение типа героя, слегка охмелевшего от собственной смелости и в иные минуты чувствующего себя (хотя еще не сознающего) по ту сторону обывательского добра и зла. Постепенно борцы с деспотизмом присваивают себе права деспотов и начинают обращаться с обывателями примерно так же самодержавно, как сатрапы. Разумеется, обыватель этого вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывает деспотов. Но герои не замечают, что структура общества, таким образом, увековечивает себя: само отрицание старого становится его повторением.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...*

В странах Африки эта кинолента крутится с повышенной скоростью. В 18 лет Нума Помпилий — студент с головой, полной освободительных идей; в 20 — он министр, в 22 — ставит в своем дворце золотую ванну, в 24 — тирана свергают. В такой легкости есть свое преимущество: меньше трупов. В России или Китае драма разыгрывается всерьез.

* М. Волошин «Северовосток».

Из одних расстрелянных можно было бы составить несколько новых африканских государств — членов ООН...

Как бы ни угнетали интеллигенцию, как бы ее ни распинали, — основное ядро ее, по-моему, не должно стремиться к власти. Идеальным политическим представительством этого ядра, была бы ассоциация, обладающая прессой, но принципиально не участвующая в работе власти, по крайней мере, исполнительной. Политическая форма существования, максимум влияния интеллигенции может быть достигнут не захватом власти и даже не борьбой за власть, а диалогом с властью; диалогом, в котором интеллигенция может формулировать и высказывать принципы, определяющие деятельность власти, и время от времени оказывать ограниченную поддержку тому или иному деятелю (группе деятелей) лучше других. Царство духа и царство кесаря должны перекликаться, но не соединяться под одной короной.

Мне кажется, для этого идеального и трудно достижимого состояния нужны какие-то совершенно новые характеры. Сейчас много говорят о сатяграхе, но ведь сатяграха — это не просто ненасильственное движение, не просто отвергающие борьбу за власть. Главное — это движение, постоянно создающее необходимость нравственной самопроверки. Движение, участники которого не считают себя героями и скромно сознают свою неподготовленность к свободе, изо дня в день готовят себя к ней. Ибо свобода — это не просто отсутствие оков. Это — искушение, ответственность. С непривычки это гораздо более опасное состояние, чем рабство.

Лет за пятнадцать до моего рождения о. Сергей Булгаков писал о том, что нам нужны подвижни-

ки, а не герои. Но идея подвижничества, накладываясь на православную традицию смирения перед кесарем, становилась бесплодной. Она не создавала никакой альтернативы героизму на гражданском поприще. Она сплеталась с полемическим отрицанием всех традиций интеллигенции и полемическим национализмом (в противоположность марксистскому космополитизму и без понимания того, что русский национализм неизбежно примет агрессивный, погромный характер). Впоследствии Бердяев все это понял и попытался исправить, но слишком поздно, в эмиграции.

Так или иначе, призыв Булгакова не был услышан. Геройство по-прежнему влекло к себе мальчиков и девочек. Шеренга за шеренгой они вступали в историю и за ними вслед выстраивались пирамиды черепов.

Потом мы устали, выдохлись, снова (как во времена Н. Г. Чернышевского) превратились в общество «бородатых баб» — и вот я снова думаю о том же.

За 70 лет мы кое-чему научились. Люди, преодолевшие трусость, больше не верят в спасительную силу террора. Они стали сторонниками ненасилия. Но психологически они еще очень близки к героям, которых идеологически отвергли: к людям 20-х годов и еще более ранним. Дух вольности у нас еще совсем по-декабристски смешивается с духом удалой пирушки. Как-то не пришло в голову, что надо не только других учить (мужеству), но и самих себя (прочим добродетелям: трезвости, целомудрию, нежеланию славы и т. п.), что надо начать со своего собственного преображения, что невозможно служить нравственному росту общества и росту пьянства в одно и то же время. Особенно виновата

в этом публика. Она просто не дает героям задуматься. Для обитательниц гарема любой мужчина, сохранивший признаки мужественности, становится объектом культа. И так, рядом с руинами старого культа героев, закладывается фундамент нового.

В терминах древней индийской философии, членящей структуру бытия (практики) на три аспекта (гуны), наша страна находится в состоянии тамас (тяжесть, тупость, инертность). Поэтому ближайшая более высокая гуна, раджас (страстность, динамизм) потрясает воображение; до того, что даже вопрос не ставится: с чем смешан этот раджас? С саттвой (легкостью, просветленностью, духовностью)? Или ярость, в которой слишком много тупого (тамас) в конечном счете ведет нас назад, в то самое болото, из которого она вырвалась? Когда современный поэт не имеет желчи, когда саттвы слишком много, его находят пресным...

Я думаю, что сатьяграха — это постоянная проверка движения (раджас), с чем оно смешано и не накаплиется ли в нем слишком много винного перегара (русский вариант тамаса). Вплоть до остановок движения, — как это делал Ганди, — если накипи становится слишком много.

Надо иногда останавливаться, чтобы углубиться. И в общественном движении, и во всяком другом. Только углубившись, человек может найти силы, чтобы пересилить внешнее давление. Это углубление сейчас нужно каждому — и герою, и среднему интеллигенту. В конце концов, решает он, маленький человек. Решает изменение общего нравственного уровня. На первое время хотя бы в одном, интеллигентном слое. Пусть будет побольше простых порядочных людей. Которые не огорчаются если их не посадили (об этом писал еще С. Булгаков) и

делают все хорошее, что можно среднему человеку, приобретая средние неприятности и не приобретая никакой славы.

Если бы мы могли просто уйти на священный холм, как плебеи древнего Рима. Если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания и быть самими собой. Не предавать, не подвывать и не гордиться этим. Это ведь совсем не трудно и в сущности не опасно. Надо только предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры.

К сожалению, рядовой современный интеллигент ниже этого. И пока всё так, бессмысленно ждать лучшего будущего. Ниоткуда со стороны оно не придет.



...Мы слишком много строили и, как строители Вавилонской башни, перестали понимать друг друга. Мы сплошь и рядом не понимаем даже себя, не можем решить, к какому «мы» себя отнести, к какой вере, к какой идее, к какой нации.

Вавилон — не просто большой город. Это город, где смешивались языки, где исчезают народы, — исчезают всячески — и как примитивы, и как нации, и как верования отцов.

Мы живем в век вселенской диаспоры*. Правда,

* Диаспора — букв. рассеяние. Часть нации, живущая в эмиграции. Диаспора особенно чувствуется в мировых центрах. Далее народ рассматривается в третьем смысле этого слова — не как *folk* и *people*, а как *nation*.

в этот же век еврейская диаспора восстановила свое ядро, опрокинув несколько теорий, по которым так не должно было быть. Но в результате диаспора не исчезла. Еврейская нация просто сравнялась с другими нациями диаспоры: армянской, ливанской, татарской, ирландской... Диаспора давно перестала быть чисто еврейской, исключительной чертой, она стала чертой всеобщей. В наш век чуть ли не каждая нация пустила облачко рассеяния. Есть диаспора китайская, — в Юго-Восточной Азии; диаспора индийская — в Азии и Африке; даже дагомейская — в Западной Африке; и уже были дагомейские погромы.

Давно пора создать новый термин — «антидиаспоризм». Психология китайского погрома в Индонезии, индийского в ЮАР и т. д. мало чем отличается от психологии кишеневского погрома. Замкнутые, слабо диаспоризированные крестьянские народы могут сочувственно относиться друг к другу, но народы закоренелой диаспоры они считают особыми, плохими народами, в целом плохими, хотя возможны отдельные исключения. (Братские чувства «замкнутого» человека к другим народам всегда несколько напоминают ответ армянского радио о пролетарском интернационализме: «Это когда русские и евреи, армяне и татары вместе идут бить грузин». Грузинское радио соответственно меняет порядок имен.)

Как и все предрассудки, этот предрассудок имеет под собой известные основания. Нации старой, закоренелой диаспоры меньше тяготеют к золотой середине, чем крестьянские нации, — разброс добра и зла в них шире. Надо самому быть широким, как Марина Цветаева, чтобы вместить это:

...Вы кровью заплатили нам! Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

Человек диаспоры либо изворачивается, как угорь, чтобы захватить чужое пространство, либо живет одним духом. Первых, естественно, больше, чем вторых. Иваны Денисовичи добросовестно ошибаются, принимая распространенное зло за норму, а добро — как отклонение от нормы. Так же думает Русанов; и как частное лицо, и как заведующий отделом кадров. Здесь он вполне искренен и вполне народен... Только интеллигенция, за некоторыми исключениями (из которых самое талантливое — Достоевский), нашла мужество идти против народа, вместе с Мариной Цветаевой, с Н. Бердяевым («Христианство и антисемитизм») или с Н. Бухариным. При всем несходстве этих трех лиц, они были интеллигентами, то есть в каком-то смысле сами принадлежали к диаспоре, не испытывали к ней отвращения.

Диаспора — очень широкое явление. Есть диаспора политическая (испанская, польская, русская), диаспора туристическая (влечение к чужому, дальнему) и особая интеллигентская, духовная диаспора. Духовно — все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Все, открытыми глазами читающие английские книги, смотрящие японские фильмы. В старину, по Кормчей книге, за это полагалось проклятие.

Мы живем не в одном, а сразу в нескольких духовных мирах. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои. В нашем сознании европейская, суфийская, индийская, китайская мудрость лезут друг на друга, как торосы в Арктике. И один

призыв к вере, к традиции, к народу анафематствует другой.* Народы не знают дороги из этого хаоса. Они и в старину не знали дороги — их выводили пророки. Откуда же взяться пророкам сейчас?



Идеал интеллигентности — это просветленное сомнение, это равновесие духовного богатства и духовной нищеты. (Первое без второго — книжник и фарисей, по-новому: интеллектуал, сноб; второе без первого — юродивый...) Интеллигентность — это развитие, процесс. Место интеллигенции всегда на полдороге. Если сознания этого нет, если есть закрытость, замкнутость на какой-то идее, догме, традиции, — интеллигентность начинает исчезать, выветриваться. Интеллигенция, как особый слой (в котором собственно интеллигентно маленькое ядро), образуется именно в обществе, утратившем народные ценности: в России — после Петра, в странах Азии и Африки — на наших глазах.

Вися в воздухе, часть интеллигенции ищет опоры в каких-то символах народности (романтики, славянофилы, негритюд). Но что стоит за этими символами после сталинской коллективизации, оставившей от народа только рожки да ножки? Что можно поставить за этими символами в Америке?

* В этих условиях, чувство национальной принадлежности если не исчезает, то укрупняется. В диалоге континентов формируется ощущение единой Европы. Кто знает, — быть может, через несколько сот лет политика де Голля будет смотреться так же, как союз рязанского князя с Мамаем.

Есть счастливые исключения среди малых стран. Там процесс урбанизации шел иначе. Там сохранялась сплоченность, связывающая вместе все уровни образованности. Там нация бывает единым организмом; там интеллигенты больше просвещали массы, чем возбуждали в них воинственность. Там символы национального единства не так легко становятся символом травли других послабее. Там все иначе. Там, как в Праге в 1968 году, народ (people) — реальность, и иногда весь народ действует, как один человек, против всемогущих тоталитарных машин.

К сожалению, в большинстве случаев народничество подыгрывает агрессивному национализму. Пример Германии достаточно свеж. Пример арабов перед глазами. Нужно ли нам дать человечеству еще один?

В этой обстановке симптоматичен, как сыпь, рост группки, образовавшейся вокруг Общества по охране памятников старины. «Нашим» охранники говорят, что народ можно разбудить только призывом бить евреев — и, в конце концов, стоит пожертвовать двумя миллионами для счастья 200. «Не нашим» толкуется, по-видимому, что-то другое. Во всяком случае, недреманное око, хорошо зная, что о нем говорят, только жмурится на глазуновцев и жалуется им с барского плеча журнал «Наш современник» (редактор т. Чалмаев). Око догадывается, что шум про святую Русь не повредит, скорее даже стодится: покамест как брусничное варенье к военно-патриотическому цыпленку, а со временем, может быть, и еще для чего-нибудь: как неофициальная разведка очередного официального погрома (в духе т. т. Мочара и Гомулки), а там, глядишь, и для

более серьезного идеологического поворота. Не век ведь Руси жить мелкими заплатами на мундире, сшитом совсем не по русскому плечу.

Казалось бы, все это мерзость. Однако за короткое время к Глазунову примкнуло несколько не лишенных таланта людей: Солоухин, Колинов, Палиевский, Чалмаев. Люди вовсе бездарные к нему не тянутся: для них всякий поворот труден. Им лучше кочетовский «Октябрь».

Тайна псевдо-почвеннической души, может быть, разрешится, если вдуматься в ситуацию современного талантливого человека. Он талантлив, но не настолько, чтобы отдаться своему дару целиком, по-солженицынски, до полной гибели всерьез, и забыть о всяких расчетах. У него нет никаких святынь, никаких табу. Он хочет успеха. Чтобы добиться успеха, надо лизать анус, но человек со вкусом, с развитием не может просто, без претензий заниматься анализом (лизанием упомянутого предмета). Ему нужно и в подлости сохранить оттенок благородства, независимости, известную свободу выбора, известную личностность и экзистенциальность. Неспособен человек 60-х годов «капельлиться с массажами...» И здесь платформа, занятая Глазуновым, представляет собой драгоценную находку. Она позволяет и личностность соблюсти, и выгоду слизнуть. Потому что оппозиция глазуновского типа — единственная, которая не обещает никаких серьезных неприятностей.

Стоит заметить, что некоторые новоявленные русские почвенники были выращены знаменитым провокатором Эльсбергом. Когда его после XXII съезда пытались исключить из Союза писателей и выгнать из ИМЛИ, будущие ревнители православия и

народности ходили по Институту мировой литературы собирать подписи в защиту учителя. Можно ли хоть на минуту представить себе Хомякова или Киреевского учениками Булгарина, более того, — собирающими подписи под адресом в честь разоблаченного агента 3-го отделения?

Новое пряничное славянофильство насквозь мещанское, спекулянтское, рыночное. Моральные сомнения его не отягощают. Трагическое чувство России ему недоступно. Попытки имитировать его у В. Солоухина сразу сбиваются на риторику. Судьба России слышна скорее в желчных песнях Галича, в его Марии, бредущей по суглинку вселенной Иудеи (вступая в невольную перекличку с тютчевским «удрученным ношей крестной» Христом...)

Можно заметить, что для политических спекуляций подлинности и не требуется. И в какой-то мере это верно. Для того, чтобы ускользнуть от нравственного выбора, привлечь публику и угодить начальству, — чем меньше подлинности, тем лучше. Однако то, что очень удобно для Глазунова, Солоухина и пр., вряд ли удобно для России.

Нация, стоящая в центре большой системы, не может удерживать этого места с помощью кокошников и сарафанов, напаянных на ракеты. Тут нужна идея, способная вызвать отклик и в нерусском сердце, — ну, хоть идея «гуманного социализма», например. Напротив, забота о кокошниках и сарафанах в центре вызывает аналогичные заботы на местах, и центробежные силы могут оказаться побольше центростремительных. Избрав удел духовной провинции, Россия становится на путь, ведущий и к политическому захолостью. Это тот путь,

который проделала Испания в XVII-XVIII вв., и он широко открыт перед нами.

Интеллигенция сверхдержавы не может жить утробным патриотизмом. Она не может спокойно жить в стране, которую ненавидят целые континенты, и не может не понимать, что такое положение попросту опасно. Она ищет вселенской идеи, способной оправдать сверхнациональную систему, или становится на сторону малых народов, борющихся против подавления своей индивидуальности. Она приходит к мысли, что рост могущества нации сверх необходимой меры становится врагом национальной жизни... Всего этого мещанин решительно не может понять. Никакой вины на себе он не чувствует. И если «они» «нас» не любят, то значит, они сволочи и надо их давить. Взаимное понимание интеллигента и мещанина в условиях сверхдержавы вряд ли мыслимо. Возможна только международная солидарность интеллигентных меньшинств через головы националистического мещанства.

Наше время часть евреев превратило в людей, как все, со своими почтовыми марками. Но зато миллионы интеллигентов стали чем-то вроде неизраильских евреев, «людьми воздуха», потерявшими все корни в обыденном бытии. Запутанность, заброшенность, тревога, страх, забота — весь этот быт человека гетто стал называться экзистенциализмом и переведен на все языки вместе с Францем Кафкой (Макс Брод считал его писателем специфически еврейским, но никто с ним не согласен). Теперь мы все равны в праве на страх, теперь каждый мыслящий человек сознает возможность термоядерного погрома, и остается только всем вместе выпутаться из этой общей для всех погромной ситуации.

К несчастью, в сверхдержавках, которым Бог дал силу вязать и решать, интеллигенция бессильна (или, по крайней мере, очень слаба). Политика здесь в плену у машины всемирного господства, у идеи престижа. Единственная заслуга сверхдержав — то, что они уравнивают друг друга. Самое лучшее, что Россия и Америка могут сделать — это сдерживать Китай. А малые страны пусть идут своим путем. Некоторые из них сохранили возможность коллективной доброй воли, сдвига к чему-то лучшему, к выходу из всемирно-исторического тупика, в который мы зашли. Надо, по крайней мере, не мешать им.

В этих условиях судьба интеллигентских меньшинств становится глубоко сходной с судьбой национальных меньшинств.

В сем христианнейшем из миров
Поэты — жидаы!*

Интеллигент может пытаться ассимилироваться в массе, но масса великодержавных мещан никогда не признает его за своего и при первой возможности вытолкнет — так, как были вытолкнуты из РСДРП ее основатели. Только сплотившись в своем одиночестве, интеллигенция может чего-то добиться и для себя самой, и для всех. В конечном счете интеллигенция должна выйти за свои рамки, захватить, просветить массы. Но прежде, чем посолить, надо стать солью; прежде, чем просвещать, надо стать светом, перестать быть человеком массы, перестать быть частицей тьмы.

Может ли меньшинство чего-то добиться? Не есть ли тактика заведомого меньшинства — тактика от-

* М. Цветаева.

чаяния? Не есть ли это крик одиночки, бессильного что-либо изменить?

...Отказываюсь жить
в бедламе нелюдей.
Отказываюсь быть
С волками площадей.*

Я думаю, что все великое начиналось с меньшинства, и даже больше того, — с одиночки, отказавшегося быть.

На этого одиночку я и рассчитываю.



Я нахожу какие-то огоньки надежды то там, то сям. Мне кажется, что путешествие всемирной литературы на край ночи подходит к концу. На запретной полосе, перепаханной модерном, поднялось и несколько ростков жизни: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, некоторые герои Сэлинджера. Принц попробовал жить на старой земле и не сумел. Но через несколько лет появились братья и сестры Гласс.** Первый, Сеймур, не выдержал, а остальные живут. Живут без всяких народных корней. Даже без надежды схватиться за народ как источник мудрости. Если они чувствуют потребность в примере, то прямо обращаются к Христу. И если Сэлинджер думает о своем читателе, то вместо туманного обращения к народу, просто говорит: надо писать

* М. Цветаева. Из стихов к Чехии.

** Из рассказов и повестей Д. Сэлинджера. Ср. «Фэнни и Зуи», «Выше стропила, плотники» и др.

так, чтобы тебя прочитало как можно больше старых библиотекарей.

И рядом с новыми, за-модернистскими сэлинджеровскими мальчиками действительно оказываются лучшие старые люди, до-модернистские, простые люди, те, которые не приняли причастия буйвола, остались верными агнцу. Сэлинджер и Бёлль стоят в сегодняшнем мире где-то рядом.

Вторая новая черта — чувство открытости, прозрачности к другим культурам. Это опять-таки очень бросается в глаза у Сэлинджера. Для его героев Индия и Китай — такие же близкие родственники, как для русского — Украина. Христианство Сэлинджера действительно кафоличное, вселенское. Оно не мыслимо без прозрачности для всех других вселенских религий, выросших на другой почве. Оно отыскивает себя заново в Упанишадах, дзэнских парадоксах, отталкивается от них и возвращается к себе так же, как Мандельштам (и без того человек двойной национальности) тянется еще к немецкой и итальянской речи и находит в них новое богатство своей родной; как Рильке в конце своей жизни вдруг почувствовал исчерпанность немецкой речи и перешел на французский язык, и наполовину по-русски написал свою предсмертную записку.

Мне чудится в этих попытках что-то пророческое. Это, может быть, первые люди новых, проникающих друг в друга, незамкнутых общностей, общностей из башни Майтрейн (в которой каждая душа отражалась во всех других, и невозможно было непонимание).



Христос проповедовал рыбакам и блудницам. Но он никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варраву.

Он проповедовал людям, когда они не были массой, а от массы бежал «страха ради иудейска». Проповедовал небольшим группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама и потом когда-нибудь это ядро обросло плотью, не в массовом, а в интимном общении. (Ни одна великая идея не побеждала в период жизни одного поколения...*)

Потом, когда новый культ, выросший на проповеди апостолов, покориł заброшенных римских горожан, когда Константин и Феодосий навязали новую веру поганым («деревенщине»),** народы не в силах были вместить ее, и перекроили на свой лад, даже не ветхозаветный, а дозаветный лад. Народ никогда не был новозаветным. Когда явится новозаветный народ, наступит тысячелетнее царство праведных. Пока это немыслимо. Народы не в силах вместить ни космополитизма Нового Завета, ни его духовной глубины.

Не поняв Царствия Божия, которое внутри нас, и перестав верить в Царствие Божие на небе, народы развитых стран за последние века, если и верили во что-то, то разве только в лучшее будущее. Но

* Политические идеи действуют как валидол. Они снимают спазмы, но не могут вылечить порока сердца. Глубочайшие пороки требуют особых, медленно действующих лекарств; терапии Христа, а не Гракхов.

** *paganus* (лат.) — первоначально деревенщина, потом языческий.

в наш век и эта вера заколебалась. Сама идея лучшего будущего, помимо вероятности ее осуществления, встретила возражения и нападки. Будущее будет, нет ли, говорят современные Иваны Карамазовы, — а настоящее слишком часто приносилось ему в жертву. И стоит ли эта гармония сегодняшних, настоящих слез?

Падая с неба или с сияющих вершин, люди схватились за народность — и попали в плен к ней. Будет ли, нет ли Царствие Небесное или светлое будущее, но мысль о нем давала точку, с которой можно было взглянуть на свой народ, как с горы, и сказать: есть две нации в каждой нации. Есть Герцен и есть Пуришкевич...^{*} А с позиции народности все кошки серы. У старых славянофилов была мерка, которой можно было мерить Россию, — был Бог. У новых почвенников ничего нет, кроме любви к своим собственным детям больше, чем к чужим. Что же делать, если свое скверное?

Бороться с отечественными пороками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота. Это задача для барона Мюнхгаузена и В. Солоухина. Или самоутешение для мещанина, который, в сущности, своими пороками совершенно доволен и никуда из своей миргородской лужи не хочет.

Миф о подлинном национальном характере, который надо только освободить от наносных черт, очень удобен для рассуждений, но при ближайшем подходе к предмету рассыпается. То, что наносилось семьсот лет, давно стало своим. Освобождаться надо от

^{*} Ср. В. И. Ленина, «О национальной гордости великороссов».

своей собственной, а не от чужой мерзости. Второе вообще слишком легкое дело.

То, что называют национальным характером — сложная структура, которую можно членить на несколько пар типов, черт.* Есть русские черты, идущие от богатырских эпох или сторон русской истории — широта, удаль, беззаботность (я включаю сюда и беззаботность, хотя от нее было и будет много несчастий: в ней есть что-то для меня глубоко привлекательное). И есть русское холуйство, русское хамство. Есть черты, складывающиеся в церкви (женская кротость и всепрощение) и черты, складывающиеся на конюшне. Как все это соберется вместе? На войне, когда начальство разрешает быть храбрым, русский мужик расправляется и становится человеком. В мирное время, когда начальство ему этого не позволяет, он теряет уважение к себе, подлеет, пьет, спьяну куражиться...

У Достоевского в «Дневнике писателя» пересказывается газетная заметка о мужике, привыкшем засовывать голову своей безответной жены под половицу и сечь ее вожжами. Ни за что, так просто, чтобы себя показать, чтобы доказать, что он власть (со смутным сознанием, что без власти он ничто). Пока она не повесилась. С одной стороны — мужик Марей, с другой — мужик-палач, мужик-погромщик. «Широк, слишком широк человек. Надо бы сузить» (Достоевский).

* Например, Вольтер и Руссо оба национальны, но они терпеть не могли друг друга. Савельич и Пугачев, Каратаев и Щербатый одинаково суть типы русских крестьян. Наконец, Христос и Иуда герои одной национальной истории.

Один из лидеров сионизма, Жаботинский, в начале XX века произнес знаменитые слова: «Каждый народ вправе иметь своих мерзавцев». Как будто бы, так оно и есть. Как будто бы верно: ни один народ от этого права никогда не отказывался. Но в старину пользовались своим правом как-то втихую, не провозглашая его как девиз, как принцип. Только потеряв веру в Бога и в прогресс, можно было дойти до идеи права на мерзость. Это и есть специфическая «позитивная» идея национализма XX века. То, что его отличает от национализма романтиков.

Меня охватывает недоумение: а есть ли оно, это право? Может быть, это только привычка, и пора ее несколько поурезать? * Особенно в наш атомный век, при чрезвычайном росте средств делать всенародные, всемирные мерзости? И если народ без права на своих мерзавцев невозможно представить, то тогда — тем хуже для народов? И народ, обладающий атомной бомбой, это немыслимое сочетание терминов? И если нельзя отказаться от открытий, сделанных физикой XX века, то надо вылезать из старой народной шкуры?

И еще некоторые особые, местные вопросы приходят мне на ум. Англичане пишут курсивом слово *интеллигенция*. Оно пришло для них из России, из русской культуры. И каждый раз, когда я встречаю эту *intelligentsia*, я испытываю какое-то чувство наивной радости. Но есть еще одно литературное заимствование тоже не очень давнее: «погром». Последнее время оно довольно часто мелькает: «погром ибо в Нигерии», «дагомейский погром в Конго»... И каж-

* Обошлись же чехи в августе 1968 г. почти совсем без мерзавцев? Может быть, это и есть норма? Пусть минутная, мгновенная, — но все-таки норма?

дый раз меня охватывает дрожь стыда. А вам не стыдно, судари и сударыни? Вы думаете, что Россия может «взлететь белой лебедью», не возненавидев собственной скверны?

Невольно вспоминаю славянофила Хомякова:

В судах полна неправды черной,
И игом рабства клеймлена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна...

Это старые стихи. И Вы можете забыть их. Без них лучше спится. Только до тех пор, пока Вы так думаете, пока Вам снится, что Вы летите, помахивая белыми крылами, Россия по-прежнему будет ворочаться в канаве. Чтобы в самом деле подняться, надо возненавидеть собственную скверну. И полюбить что-то получше: Бога, Идею... Тогда народ действительно взлетает, и следами его остаются такие слова, как «осанна», «аминь», «София» — или, в атеистические времена: «интеллигенция», «прогресс», — а не «погром» и «... твою мать».



Из двух великих народов древности, заложивших основы нашей культуры, один осудил Сократа (за безнравственность), другой распял Христа... Как это получилось? Может быть, потому, что обратная сторона народа — масса? И глас народа — глас Божий, глас массы — голос осла?.. Может быть, весь смысл народа в том, чтобы сопротивляться крупным переменам? Сопротивляясь Шан Яну, он прав. Сопротивляясь Христу, он грешен. Но сам по себе он

никого не рождает. Он только хранит, и то не очень хорошо.

Какой пророк был доволен своим народом? Какой пророк не бичевал его? Не говорит ли довольство своим народом о глубоком духовном упадке, об утрате самого томления по духовной глубине? То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет, чтобы его принимали за народ. Оно хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить ее относиться к себе, как к норме или образцу. Действительные поиски народности (африканской, океанической, примитивной) это мещанство не понимает и гонит. Действительную духовную традицию народов, в лучших ее порывах, это мещанство не понимает, не знает. Наследники этой традиции — мы, мы сами, и нам самим надо искать дорогу, не оглядываясь на большинство. Когда Орфей оглянулся, он второй раз потерял Эвридику... Потому, даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться, ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый.

Пицунда, сентябрь 1967

Москва, март 1969

Маленькие эссе

СЧАСТЬЕ

Русское слово «счастье» сливается по своему значению то с удачей, то с радостью. Первое несколько устарело, оно сохранилось в поговорках (счастлив в картах — несчастлив в любви и т. д.). Несколько меньше — в отрицательной форме (несчастье — большая неудача, неудача с роковыми, непоправимыми последствиями). Но в положительном смысле слова «счастье» на первое место выдвинулось переживание, связанное с удачей, — радость, и это подавило первоначальное значение.

Можно быть счастливым беспричинно. Можно быть счастливым, несмотря на неудачи, даже несчастья.

В развитии семантики слова «счастье» сказалась стихийная мудрость языка: обстоятельства могут сделать счастливого человека несчастным, но есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не умеют быть счастливыми. И величайшая удача в жизни — это способность к радости. Глубокой, устойчивой радости. Уходящей на время вглубь и всплывающей вновь. Что бы ее ни вызвало!

Ребенок всегда способен к счастью и счастлив, когда играет, когда чувствует любовь матери и любит ее. А многие большие люди слишком озабочены для счастья. Они думают о завтрашнем дне (или о вчерашнем), о том, какие несчастья были с ними или могут быть, каких внешних условий счастья им не хватает, с утра до вечера делают работу, которая сама по себе не радует их, лишь бы не умереть под забором, — и проходят мимо счастья, которое всё в настоящем, в сегодняшнем дне, и не в

вещах, а в нашей способности откликаться вещам — простым, естественным, даровым: небу, дереву, человеку.

Многие могут испытать вкус счастья, только выпив и заставив уснуть заботы вместе с разумом. Многие вынуждены пить, чтобы заглушить голос совести или чувство страха. Вольному — воля, а пьяному — рай.

Для счастья нужно очень немного. Любить что-то больше самого себя, видеть или прикасаться к нему и забыть обо всем остальном. Внутренняя трудность счастья в том, что одна любовь сталкивается с другой (любовь к семье и — к правде, любовь к родине и — к свободе). Внешняя — в том, чтобы освободить свой ум от созерцания клетки пространства и времени, в которую мы заперты. На помощь любви приходит опьянение, сон и игра. Какие-то волны цвета, звука, пространственных и логических форм всегда нас окружают и охватывают; играя, дети строят из них гармонические ряды и в этом царстве свободы становятся самими собой, находят свое счастье.

Взрослые могут поступить так же, но им многое мешает. Во-первых, мешает несерьезное отношение к игре. Дети в своих играх подражают высшему, на которое можно показать пальцем, — взрослым. Положение взрослых труднее. На высшее, образом и подобием которого им хочется стать, пальцем не покажешь; и многие думают, что стремиться к тому, чего нет, несерьезно; серьезно они относятся только к тому, что необходимо: есть, пить, одеваться, иметь не слишком плохое правительство и т. д. Игры взрослых людей — только разминка, перекур, отдых. Так, во всяком случае, думают серьезные люди. Правда, большинство людей несерьезно: новости

спорта волнуют их больше, чем политические события. Но это считается признаком глупости, — да так оно, пожалуй, и есть.

Необходимое подчиняет своему ритму, превращает в раба, в программированную машину. Нельзя оставаться самим собой, занимаясь необходимым больше, чем это действительно необходимо, — отдавая себя всегда достижению практической цели. Опыт показывает, что никакая цель не оправдывает средств, если по пути к ней человек теряет себя. Достигнутое оказывается пустым и бездушным, не радует и не удовлетворяет.

Но спорт и другие игры взрослых людей только чуть-чуть шевелят душу. Только в некоторых особых играх взрослый, как ребенок, чувствует себя образом и подобием чего-то высшего, свободным существом, царем вселенной. Такой игрой были религиозные обряды. Такие игры — искусство, любовь; для математиков, чувствующих форму числовых символов, такой игрой может быть их наука и т. д. Эти особые игры взрослых — подражание миру, которого нет в пространстве и времени, миру, которого мы не знаем, — быть может, создание нового. Они поднимают над будничным, дают чувство духовной бесконечности, они создали человека из животного и каждый день вновь создают его из праха.

Наши близкие родственники — обезьяны — более расположены к игре, чем другие животные: они превратили, например, в игру половые отношения (солидные млекопитающие любят только в период течки). Норберт Винер считает, что игра в шифровку и дешифровку дала толчок к развитию языка. Этнографы открыли, что примитивные племена приручают животных ради забавы, и лишь гораздо

позже домашние жиротные были использованы. А то, что математики занимаются своей наукой, ничего не думая о потребностях производства, достаточно хорошо известно. Но ученые были бы обижены, если бы их занятие назвали игрой. Надо найти особое слово для высших игр взрослых людей.

Раньше, когда была религия, говорили: «святое искусство», «святая любовь». Таким образом, некоторым играм приписывалось мистическое значение, и это давало им положение в свете. На языке науки это положение трудно описать. Наука расшатала религию, но не может создать систему ценностей взамен религиозной. Фрейд — почтенный ученый, но он не способен заменить Амура. Прилагательное «научный» увеличивает ценность только явлений науки; «научное искусство», «научная любовь» — нелепые сочетания слов. Скорее имеет смысл сочетание «изящная теория». Но может ли искусство стать мерой всех ценностей — в том числе и научных, мерой, которой была религия? Без нее человеческая душа не может выбраться из хаоса.

Счастью взрослых мешают также забота, нечистая совесть, страх. «Храбрый умирает однажды, трус — тысячу раз». Из страха перед страданиями человек часто подавляет и умерщвляет свою способность откликаться на поэтическое чувство; чтобы не потерпеть поражения в борьбе за необходимые блага, воспитывают в себе сухость и жестокость. «Бойтесь первого движения души, — учил Талейран, — оно обычно самое благородное». Нечистая совесть заставляет закрывать сердце, чтобы, заглянув в него, не испытывать боли. Но «хрупкое растение счастья» (Стендаль) не может вырасти на окаменевшей почве. Жюльен Сорель мог сделать карьеру Растиньяка, но предпочел положить голову под нож гильо-

тины, чем еще раз солгать: маска начинала прирастать к лицу. Невелика радость — стать счастливым в глазах мещан и дрянью в своих собственных. Иногда некрасиво не только быть знаменитым, но даже остаться в живых. И в камере, в недолгие дни до казни, Жюльен, быть может, испытал больше счастья, чем выбрав другой жребий и став супругом маркизы де ла Моль, вельможей и подлецом.

Стендаль был милостив к Сорелю и прислал к нему в камеру мадам де Реналь. В предельных ситуациях так не бывает.

Старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Боги — на стороне победителей, Катон — на стороне побежденных. Здесь разговор о счастье вообще теряет смысл. Если остается только выбор между смертью и мучениями совести, стремление к счастью заходит в тупик, нужны другие принципы, чтобы сделать этот выбор разумным.

Счастье не является высшим принципом, которому можно подчинить всю человеческую деятельность, и Милль прав: несчастный человек выше счастливой свиньи. Но надо ясно понять, что это значит.

Современное искусство охотно — даже слишком охотно — изображает неврастеников, душевнобольных, инстинктивно предпочитая их нормальным мещанам. Однако свинья не счастлива, она только сыта и довольна; это — гармония со средой, основанная на безличности, на отсутствии самостоятель-

ного проекта. В подсознании мещанина дремлют подавленные порывы; вырываясь наружу, они разрушают карточный домик мещанского счастья. В психозах, как в раковой опухоли, разрастается искалеченная человеческая сущность, в болезненной раздражительности — способность к более острым впечатлениям, чем те, которые необходимы для добропорядочной службы. Без высокой чувствительности человек не знает ни счастья, ни несчастья. Поэтому способность к несчастью — примета высоко развитого человеческого существа: поэта, художника, артиста. Но само по себе несчастье — состояние тоски по идеалу, первый шаг к нему, и только. Это состояние еще наполовину рабское, наполовину навязанное жизнью, а не то, которое человек должен искать, не идеал.

Счастье — не высокая, но достаточно высокая ценность. Способность к счастью — признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей всё, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной (второстепенной) цели, приняв ее за истинную (главную), а главную упустил. Поэтому утрата способности к счастью, характерная для декаданса, — это индикатор душевного хаоса, разброда и шатания ценностей, неспособности найти в жизни главную линию. С высшей, надличной точки зрения, счастье — не цель, но это средство, без которого трудно обойтись: счастливый человек делится с окружающими своим счастьем, неврастеник — своими больными нервами. Вопреки теории Адлера, согласно которой реформатором движет воля к власти, а воля к власти — компенсация неспо-

способности к личному счастью, в жизни часто бывает наоборот. Радищев, Рылеев, Герцен умели быть счастливыми и были счастливы в любви (молодой Герцен). Но счастье, которое они давали одной или немногим и которое они от немногих получали, не было полным, потому что на него падала тень угрюмой и тяжелой жизни других. Счастье живет только в обмане, в передаче от одного другому. Им нельзя владеть, как домом или помещьем, обособившись от других. Только давая, не спрашивая взамен, можно вызвать его к жизни. Только рискуя потерять счастье, можно умножить его.

Схваченное в руки, зажатое в кулак, спрятанное от других, оно исчезает. Достоевский об этом писал: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека». Счастье — не цель, а скорее средство, средство, без которого почти так же трудно обойтись, как без рук. Добро не укладывается полностью в рамки счастья, но вне их оно не может быть осуществлено.

Христос принял крестные муки, — но Он не искал их, не носил вериг, не спал на гвоздях; Он любил своих учеников и с радостью беседовал с ними. Он сказал: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А дети чаще, чем взрослые, счастливы — и меньше взрослых боятся утратить счастье.

1958-1966

ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Каждый видит и слышит вещи. Каждый может предположить за вещами какие-то механизмы, управляющие движением: проделки духов, «силы» классической физики или статистические ансамбли электронов. Но есть еще что-то, стоящее по ту сторону всех вещей, домовых, сил и структур. То, что рождает вещи и уравнивает их.

Есть какая-то мировая связь, и человек может подключиться к ней, и когда он подключился, то всё остальное пусть идет из рук вон плохо — это неважно; а когда он не подключился, то все остальное может быть очень хорошо, но это тоже — неважно.

2. В человеке есть приемник (способность подключиться в цепь) и передатчик (способность действовать).

Приемник подслушивает, если он в порядке, ритм Целого. Тогда появляется желание *выразить* подслушанное каким-то частным действием. Крестьянка выражает себя тем, что выкормила ребенка; Микеланджело — Сикстинской капеллой. Но оба они прежде подслушали, приняли волну откуда-то. Без этого человеку нечего сказать. Сам по себе он ничто. Женщина родит, но ребенок вырастает свиньей. Художник напишет картину, но ее забудут.

Прежде всего важно, чтобы хорошо работал приемник. Тогда уже будет забота, как ответить, как передать принятое дальше. Можно и помолчать. Есть немые натуры, спящие красавицы, вокруг которых едва ощутимое облако чего-то хорошего. В этом облаке легче дышать. А то, что говорят люди,

не способные принять, — один шум, одни помехи, шипение испорченного механизма.

3. Есть много способов настраивать приемник: войти в облако вокруг человека, подключенного в цепь. Войти в его след (в слове, в музыке, в картине). Включиться в цепь, прошедшую сквозь природу. Сблизиться с другим человеком, таким же, как ты. Иногда вдвоем само собой выходит то, что никак не дается поодиночке.

Ребенок растет в облаке нежности, созданном близостью, не понимая, что это она настраивает его, и торопиться вырваться, уйти подальше от маминой юбки. Рано или поздно дело сделано, — он свободен. Некоторое время приемник по инерции продолжает работать (инерция иногда тоже хорошая вещь). Потом настройка сбивается. Раз, два удастся что-то подвертеть, третий раз всё идет насмарку. Вместо музыки, слышен только собственный шум. И сквозь него — пустота. Чувство пустоты, как физическая боль. Это — сигнал. Можно заглушить его, положить подушку на будильник, принять пирамидон. Но пирамидон не вылечит больной зуб, надо сверлить его и положит пломбу. И пустоту в душе тоже нельзя залить. Прохудившуюся душу надо снова сделать цельной. А для этого есть одно лечение — связать ее с Целым. Надо подключиться в цепь.

1964-1965

БОГ И НИЧТО

Что я знаю о Боге? То, что этот образ приходит в голову над пустотой: последним, когда падаешь в нее, и первым, когда возвращаешься назад, еще не различая ничего: где субъект и где объект, где факт и где ритм теней... Мейстер Экхарт из любви к Богу сбрасывает Его в Ничто. Отпадает мертвое, придуманное, а живой возвращается к живому и рождается заново, как в душе Иисуса. Остальное — иконы. Живой Бог — тот, кто воскресает из Ничего. Вера, которая не разрешает сбрасывать Бога в Ничто, делает икону кумиром, и атеизм следует за нею, как тень.

Каждая вера чтит свой образ Божий, свои иконы. Но икона (в камне или в слове) — только подобие, «сеть, которую надо отбросить, когда поймана рыба». Икона прозрачна. Она не застилает вечного света, а только смягчает его, делает выносимым для глаза.

Подлинное нельзя высказать. Все изреченное — только подобия. Дело совсем не в том, чтобы труп вырвался из могилы и вознесся на небо (то самое, которое взломал Коперник?). То, что произошло с Христом, было гораздо большим чудом. Его смерть вызвала в душах учеников обвал, который длится до сих пор, и Христос тысячу и тысячу раз воскресал в человеческом сердце. Этот сдвиг, этот обвал мертвых пластов в сердце, это торжество жизни и есть величайшее чудо во Вселенной.

Само слово Бог — подобие. Оно так же не имеет прямого смысла, как и другие слова любви. Если бы любимая в самом деле стала солнцем или звез-

дой, кому это нужно? То, что высказывается словами, не равенство любимой звезде, а любовь. И Бог — это не равенство чему-то другому. Это слово любви, сказанное жизни. Слабый человеческий отклик из пустоты, взрытой познанием. Познанием Целого.

Декабрь 1963

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧЕРТА

*Леониду Ефимовичу —
с любовью и благодарностью.*

Художники придают ангелам сходство с женщинами и детьми; чёрта рисуют мужчиной. Тут есть какая-то правда. Чёрт — мужчина. На своем месте он так же хорош, как Гармодий, сразивший тирана. Если человечество не может состоять из одних женщин и детей, то идеалы человечества тоже нельзя свести к ангельским ликам.

Говорят, что черти безобразны. Это — условность иконы. Врубель разрушил ее, и мы знаем: демон прекрасен, когда лицо его обращено к Властелину. Черт — ангел сопротивления. Но этот ангел становится безобразным, когда сопротивляться нечему. Когда нет ни деспота, ни раба, ни отдельного существа, ни вселенной, когда падают все различия, всё плавится, теряет материю, становится светом. Черт не хочет плавиться, он тугоплавок, и в белом свете любви дымит багровым и черным.

Час демона начинается в сумерках. Мир остывает и снова распадается на части. Сама жизнь смотрит тогда на человека двумя разными лицами. И нельзя одинаково глядеть в ответ на машину и на Бога, одинаково отвечать на принуждение и любовь.

«Мудрый подобен зеркалу, — говорил Чжуан-цзы. — Оно отражает тьму вещей, оставаясь ясным и незамутненным».

Ибо есть невидимая ось, вокруг которой все движется: память о белом накале. Невидимый позвоночный столб связывает организм, не сковывая его,

не мешая откликаться жизни, не мешая всплывать из глубины той маски, которой требует роль. Я помню человека, в духе которого рядом жили князь Мышкин Достоевского и франсовский Люцифер. Никакого внешнего порядка не было. Но Люцифер не пытался захватить первое место. Было стихийное чувство жизни, и оно подсказывало, когда говорить князю Льву Николаевичу и когда — бесу гордыни...

Человек должен быть мужчиной по отношению к власти и женщиной по отношению к Богу. Мы, по большей части, наоборот: мужчины по отношению к Богу и женщины — по отношению к власти. Иногда — капризные женщины, склонные к гаремным шалостям, интригам и сплетням...

Декабрь 1963

ТРИ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯ...

Были у дедов сапоги. Не простые — семимильные сапоги. Сами несли через войну, разруху, террор. Думали деды — износу сапогам не будет. Но не тут-то было. Начала история разувать дедов. Дергает и дергает за каблук. Деды сопротивляются, не хотят разуваться, но обутыми быть никак не удастся: пятка в голенище застряла, пальцы едва касаются подошв, а дальше не лезут. Не то ноги распухли, не то кожа ссохлась.

Плунуть бы на сапоги, да как-то страшно на старости лет по-мальчишески пойти босиком. Спотыкаются старики, путаются в полуспущенных голенищах, падают. Нервы совсем расходились, что ни день — скандал.

Отдышавшись, деды смеются друг над другом. Те, с кого сапоги слезли на половину, тычут пальцами в консерваторов, разувшихся только на одну треть. А те, кто освободился на три четверти, за глаза называют друг друга ортодоксами.

Это клинический случай номер один — маразм полуснятого сапога.

У отцов была другая игрушка: въехать в Глупов на белом коне, сжечь два-три учреждения и место, на котором они стояли, посыпать солью. Но торжественный въезд в Глупов был отменен. Пришлось возвращаться в вагоне третьего класса, рядовыми советскими гражданами.

Забились отцы в крысиные норки, ходят на службу, а в душе скачет белый конь, не дает покоя, по ночам снится, проклятый. Мучает роковой вопрос: человек я или тварь дрожащая. Поймут ли грядущ-

щие поколения весь мрак, весь ужас нашего существования?..

Напившись, отцы обвиняют друг друга, кто больше продался ответственным работникам, и бьют посуду. Идеал белого коня постепенно тускнеет, отодвигается на второй план, становится чем-то вроде огурца: закуской к водке.

Это клинический случай номер два — маразм не выведенного из конюшни белого коня.

Третий случай — с малолетними.

Деды пьют валидол, потому что не достроили хрустальный дворец. Отцы пьют водку, потому что не разрушили хрустальный дворец. Мальчики лижут сивуху или жрут борбамил, потому что им на всё плевать.

«Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы» (Достоевский).

Это клинический случай номер три — маразм дерьма, возведенного в идеал, маразм как чистое (и отчасти даже святое) искусство.

1963-1966

К ТЕОРИИ ЗАРИ

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...

День отделяет друг от друга предметы, цвета, даже мысли. Ночь все смешивает. Зелень сосен борется с ней, становится напряженной, потом сдается, сереет, чернеет. Всё становится черным: из черноты выступают звезды...

В городе мы их не видим. Пока не захочется спать — живем в искусственно растянутом дне. И кажется, что всё можно растянуть: молодость — на всю жизнь, прогресс — на все эпохи.

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

Курортница, встретившая знаменитого человека*, воскликнула: а я помню вас молодым! Знаменитый человек ответил: а разве я сейчас старый? Старость кажется нам некрасивой, почти неприличной: говорить о ней неудобно, признаваться — стыдно.

Это не всегда было так. Иконописцы охотнее изображали старцев, чем юношей. Старики, нарисованные Нестеровым или Рерихом, согнуты годами, с трудом передвигают ноги, но совсем не хочется омолодить их. В них «душа сбылась» (по слову Ма-

* К. Е. Ворошилова в Пицунде.

рины Цветаевой), и страшно испортить этот драгоценный плод, что-то в нем исправляя, переделывая по-своему работу многих лет, зим, весен, осеней, восходов и закатов... Я не хочу сказать, что старики и старухи вообще прекраснее молодых*, но самое прекрасное в человека копится медленно и если удастся накопить его хоть к старости, — оно награждает за все потери.

Самого прекрасного, самого главного в жизни нельзя схватить. И потому не так важно, что годы уменьшают и уменьшают возможность схватывать, присваивать, вкушать. Чем больше человек открыт для потерь, для старости, для смерти, тем легче близость к жизни. Та самая близость, которая в любовном языке XX века заменила слово «обладание». Ибо нельзя присвоить себе череду утра и вечера, света и тьмы. Нельзя выбрать кусок повкуснее и отбросить другие. Бесплезно огораживать сотню гектаров леса, километры пляжа, заводить охрану, собак... Все это только мешает. Мешает войти в поток и идти вместе с ним.

Всё течет, всё смыкается в круг. День — ученый и строитель. Он разбирает мир на кирпичики и складывает из них свои постройки. Ночь — созерцатель, погрузившийся в темноту единого или в призрачный свет его обликов, отражений. А утро и вечер — художники, всегда что-то подмалевывающие своими длинными кистями, всегда создающие новые миры — между ночью и днем, между днем и ночью. В зорях — утренней и вечерней — есть какая-то особая прелесть. На свет — как на Бога христиан — можно смотреть простым человеческим глазом только в эти часы, когда он рожда-

* Такого мнения, впрочем, был У. Уитмен.

ется или умирает. И странное дело — умирание солнца, света, цвета так же прекрасно, как рождение. Каждый вечер дает нам в этом отношении мягкий урок. А тех, кто не понял его, доучивает старость —

Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера...



Когда солнце склоняется к морю и перестает обогрывать спины, отдыхающие уходят. Едва ли один из двадцати остается посмотреть, как огромный красный шар спускается в зеленую воду. Остальные идут домой. По дороге они говорят: какой закат! Нет, посмотрите — вы этого в Москве не увидите! — и уходят. Когда у красоты очень большой размах, очень широкий шаг, с ней трудно идти в ногу. Или, если хотите, стоять в ногу. Нужен особый диапазон в приемнике впечатлений. Он редко бывает исправным. Средний пляжник способен переваривать красоту только на гарнир, как сопровождение к своим здоровым и разумным занятиям — купанью, солнечным ваннам, бадминтону, картам. Он не слушает шорох прибоя, а включает транзистор. Один на один с первозданной, великой, бескрайней красотой — средний человек теряется.

Совершенно пустое побережье на заре. Даже немногие, смотревшие на закат, уходят. Заря беспредметна. Полоса моря, полоса неба, по ней небрежно, словно обезьяна хвостом нашвыряла, — кучки облаков. Неясно, на что смотреть. Непонятно, от чего захватывает дух. Целое — самое прекрасное в мире

— складывается из ничего. И только два-три человека из тысячи с радостью смотрят в эту великую пустоту.



Слово логос, пущенное в философский обиход Гераклитом, имеет оттенок смысла, для большинства греков второстепенный: стопа в стихе, ритмическая единица, ритмы. И, может быть, Фауст, смущенный переводом первого стиха Евангелия, искал именно этот потерянный смысл: в начале был ритм. Как бы его ни называли — логос, вечно живой огонь, дао, — говорили о нем, когда пытались одним словом высказать Целое. Сперва ритм Целого, потом отдельные предметы. Когда на старых китайских картинах (которые сейчас рвут и сжигают хунвейбины) видишь мудреца, созерцающего цаплю, или туман в горах, или водопад — это не ученый, ищущий знаний о цаплях и водопадах. Мудрец и в цаплях, и в тумане, и в заре ищет одно: ритм Целого, дао. И когда его схватывает тот ритм, все неразрешимые вопросы, над которыми бьются люди, становятся легче пепла...

Так что́ нам делать с розовой зарей? Ничего не надо делать. Надо не мешать ей делать что-то очень нужное с нами...

Пицунда, 1965

КОАН

Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы: тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?

Тут общего ответа нет. Надо решать эту загадку каждый день, каждый час, всю жизнь.

Апрель 1966

ПРЯМОТА

*Я различу великую прямую,
Следя за вашей дерзкой кривизной...*

Когда облака рассеиваются, пилообразный хребет высовывается в складке мягких прибрежных гор. На него ложатся лучи заката, и становится видно, как свет, углубляясь, раскрывает в твердом и резком — текучесть и мягкость. И, подчиняясь нежной прямой света, скалы отдаются брачному танцу, становятся гибкими, теряют свою нескладную, мальчишескую ломаность и растворяются в сумерках...



Не знать, когда, зачем, как скоро...
Незнание — полноты сестра.
Немые — люди, а не горы.
Ведь духу говорит гора
Без внятности членораздельной,
Но с целым богом глыбой цельной.
Хребет безглазый и безрукий
Всецел. И возглашает храм,
Что смерть — великая наука
Непостижимым языкам...



Прямота в природе всегда поражает. По-настоящему она дается только свету. Все остальное стремится к прямизне, но она отпускается строгой мерой, и те, кто забывают или не знают ее, падают. Так молодые горы, пытаясь напрямик вырваться

из тесноты, срываются в хаос изломов и снова застывают. Пока стихии, послушные свету, — вода и воздух — постепенно сгладят острые углы и приучат камень к порядку застывшей мертвой зыби.

Растения, начав жизнь в воде, сперва не стремились к прямоте. Кратчайшей для них была кривая волны. До сих пор в реликтовых соснах Пицунды сохранился мягкий изгиб водорослей. Этим они чем-то напоминают ящеров, вылезших на сушу, но еще пахнувших морем в постройке тела. Потом возникли новые породы, угадавшие, что в воздухе они свободны прямо расти навстречу прямому солнечному лучу. Подняться — и развернуть навстречу ему свою крону. И затихнуть, раскинувшись вкривь и вкось, вправо и влево свободными волнами зеленой плоти.

Так же скупно пользуются прямой птицы, выстраиваясь клиньями, когда приходит пора перелета. Остальное время они не пытаются строить жизнь по прямой.



Лесная глушь. Огонь во тьме недобрый.
Лиловых теней тихая гроза.
Моей души праматерь и прообраз,
Моя душа глядит в мои глаза.
Лиловый морок на горбатом скате,
И это небо с этой глубиной... —
Моей души прообраз и праматерь,
Как в зеркале, встает передо мной.
Неясных форм причудливая кладка,
В самом себе запутавшийся лес,
И вдруг, как проблеск высшего порядка,
Грань океана и сосны отвес.



Заговорив о птицах, я невольно коснулся другой темы. В каждом царстве природы есть своя мера соборности. Горы сами собой собираются в хребты, воды — в моря, и чем они больше соберутся вместе, тем прекраснее. А на закате, на заре, лучи солнца связывают красноватыми бликами, пересекающими предметы, всё, что днем разделилось: небо, облака, горы, леса, море. Пока предметы, спутанные длинными тенями, не сливаются в единую ночь.



Бог — это свет. Но кто, кто смог
Понять всей дрожью, всей тревогой,
Что свет разлитый — это Бог
И слушаться его, как Бога?

Как ветра — легкий лепесток,
Как вёсен — молодые кроны,
Как пальцев трепетных — смычок.
Как дали — колокольных звонов.

Как перед Богом — трепетать,
Перед тишайшим, перед кротким,
И стеклянеть, как моря гладь,
И розоветь, как в море лодка.

Ловить разорванную нить,
Сплетать и снова делать целой,
И, удлиняясь, заходить
За мир, за вещи, за пределы...



Деревья и по отдельности легко отвечают лучу. Их не нужно собирать для этого в громады. Достаточно листка, цветка, чтобы ответ был законченным и полным, — таким, как очень редко удается мелким планам земли и воды (капле, попавшей под луч, или кристаллу). Но в роще, в перелеске, лесе есть своя, дополнительная прелесть. Дремучий лес (за которым не видно отдельного дерева) прекраснее любой самой стройной сосны. И собранные в лес, деревья как равные вступают в игру закатных светов, не уступая по мощи самим крупным соборам — горам, морю.



Сверкнула береза. Задела рябина
Высокой сосны золотую струну.
Собрать свою душу, собрать воедино,
Как корни и ветки собрались в сосну.

На зелени желтые, красные пятна,
На медных столбах ярко-синий навес.
Собрать свою душу, — собрать в необъятность,
Как свет и стволы собираются в лес.

Призыв к воскресенью, прекрасный и строгий
Единства воскресшего грянувший хор.
Собрать свою душу, — собрать ее в Бога,
Как камни и блески собрались в собор.



С животными дело хуже. Они бывают хороши, даже очень (олени, лани), но только поодиночке или небольшими группами. Стадность ничего не прибавляет к их красоте. И птичьи стаи хороши, пока не велики; птичьи базары так же безобразны, как и человеческие.



Чем покорнее, тем огромнее. Эльбрус только прекраснее от того, что он очень большой; море — что оно еще больше; небо — что оно совсем без границ. И деревья, хотя они по законам необходимости меньше гор, никогда не проигрывают, разрастаясь ввысь и ширь. Но у животных есть верхний предел, за которым красоты больше нет; и вслед за красотой исчезает целесообразность.

Первые ящеры, вымахавшие в рост тогдашних (тоже гигантских) папоротников, вымерли. Постепенно установилась норма для наземных животных, даже самых крупных, — такая, чтобы они могли жить в лесу, как раньше в море.

«Чертежник пустыни, арабских песков геометр» строит мир по законам красоты. То, что само не может собраться в единство, должно жить в порах других единств, не вылезая из моря, не поднимаясь над вершинами деревьев. Человек не составляет здесь исключения. Он должен оставаться ниже гор или сам стать как горы и небо.



Дай мне, Господь, как в голод — хлеба,
Как в сухость — горстку из ведра,
Кусок несмеряного неба,
Пучок жарптичьего пера.

Дай мне запутанности дикой,
В мои глаза ночные влей
Твоей сумятицы великой
И кривды праведной Твоей.

Ты — сон, размывший берег яви,
Ты — свет в пещере из ветвей.
Неужто Ты меня оставишь
С кургузой ясностью моей?

С моим рассудком перезрелым,
С неповоротливо большой
Мольбой, с упертым в небо телом
И недоразвитой душой.

Нет, проведя сквозь все темноты,
Вниз головой, в волну, во тьму
Открой внезапные ворота
В то, что неведому уму!

Пицунда, октябрь 1967

Стихи З. Миркиной

Проза Г. Померанца

Маленькие эссе, за исключением двух («Три клинических случая» и «Прямота») опубликованы в журнале «Грани» № 80, 1971.

Публицистика

НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Многие наши исторические сочинения сконструированы по модели, которую, пожалуй, лучше всего описать стихами Н. Коржавина:

Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл — но не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь...

Эту модель можно применить к кому угодно — хотя бы к Чингисхану. Был он видом довольно противен, сердцем подл, — но не в этом суть: он приобщил отсталые народы к благам передовой китайской культуры. Поэтому поставим памятник Чингисхану! И такой памятник сооружен (в КНР).

Попробуем посмотреть, как работает модель, спародированная Коржавиным, на двух академических примерах. Жили-были два императора, один в Индии, другой в Китае — Ашока и Цинь Ши-хуанди. Оба имели перед собой прогрессивную задачу — объединение страны. Ашока с этой задачей не справился. Он поддался ложной жалости, неправильно-му гуманизму. Я хотел бы дать более точную характеристику этому гуманизму, но не могу, потому что в те давние времена еще не было мелкой буржуа-

Текст статьи, подготовленный для журнала «Новый мир» по материалам выступления в Институте философии 3 декабря 1965 г. (Напечатан не был. — Р е д.)

зии; иначе я бы, конечно, назвал этот гуманизм мелкобуржуазным. Итак, Ашока поддался неправильному гуманизму, не сумел отличить прогрессивных войн от реакционных. Едва завоевав одно царство, он перестал посылать за границы свои армии, и вместо них повсюду поплелись буддийские монахи, несшие трудящимся соседних стран реакционный буддийский дурман: «не отнимай чужой жизни, не бери того, что тебе не принадлежит, не лги» — и т. д.

Зато Цинь Ши-хуанди был правильный гуманист. Если враг не сдавался, он его уничтожал; если сдавался, — тоже уничтожал. Впрочем, слова гуманизм — по-китайски это звучит «жэнь» — Цинь Ши-хуанди не любил, и книги, в которых толковалось про «жэнь», велел сжечь, а заодно и все другие книги, кроме трудов по сельскому хозяйству, военному делу, медицине и гадательных книг. А книгоцеев, интеллигентов, толковавших насчет «жэнь», собрали и закопали живыми в землю или подвергли другим позорным казням. Прослойка еще не успела разрастись, и задача Цинь Ши-хуанди оказалась сравнительно простой.

Очистив страну от неправильного гуманизма, Цинь Ши-хуанди объединил Китай и основал единое китайское государство на твердых принципах: за доноительство — казнь, за донос — повышение по службе или другое поощрение. Были построены великие сооружения древнего Китая, в том числе Великая стена, которая стоит и поныне.

Это великолепное государство обладало только одним недостатком: жить в нем было нельзя. Даже Цинь Ши-хуанди, создатель системы, не выдержал ее. Он заболел профессиональной болезнью прогрессивных деятелей такого типа: манией пресле-

дования. Народ тоже не выдержал. Едва Цинь Ши-хуанди умер, китайцы вышли из состояния столбняка, в который их поверг циньский прогресс, и Эр Ши-хуанди (сын Цинь Ши-хуанди) был свергнут с престола. После нескольких лет смуты воцарилась династия Хань, реабилитировавшая интеллигенцию и интеллигентность. С тех пор китайцы называют себя ханьцами, а китайские императоры в течение 2100 лет стеснялись надевать военный мундир. Только недавно снова вернулась мода на полувоенные куртки.

Цинь Ши-хуанди вовсе не был безграмотным самодуром. Он действовал на основе строго разработанной научной теории. Истоки этой теории, как доказывают некоторые китаеведы, восходят к Мо Ди, выдвинувшему принцип «все для народа» (на этом основании моисты отвергали искусство и науку, непонятные народу). Шан Ян придал теории более строгий характер, заменив расплывчатый термин «народ» более точным — государство. Во имя государства предполагалось разрушить все другие, архаические формы общежития — например, семью, чтобы семейные связи не препятствовали верности государю. Хань Фей написал блестящий трактат, в котором человек в руках правительства приравнивался к куску дерева в руках ремесленника. Этот трактат сохранился, переведен на английский и русский языки. Хань Фэй не сравнивал человека с машиной только потому, что тогда еще не было машин. По существу его можно считать предшественником кибернетики.

Ашока и Цинь Ши-хуанди оба были утопистами.

Ашока — потому что видел в человеке только духовное существо; Цинь Ши-хуанди — потому что видел в человеке только машину, которую мож-

но программировать с помощью наград и казней. Первую утопию, в рамках предложенной схемы, надо, по-видимому, назвать реакционной, а вторую — прогрессивной, потому что Ашока опирался на реакционную религию, а Цинь Ши-хуанди — на передовую научную теорию.

Но вот оба умерли, истлели, и осталась от Цинь Ши-хуанди Великая китайская стена, а от Ашоки — надписи, выбитые на скалах: Я, царь Ашока, завоевал царство Калингу и убедился, что для этого надо было убить 100 000 человек, и сердце мое содрогнулось...

Я не утверждаю, что не надо строить стен. Но я утверждаю, и совершенно серьезно, что память о сокрушенном сердце Ашоки — тоже вещь, без которой ни один народ не может прожить.

Теоретическая модель, спародированная Коржавиным, основана на двух предпосылках:

1) нравственный облик человека не имеет большого значения; важны только дела;

2) прогресс все спишет.

Оба эти предложения ложны. Существует не только преемственность дел, но и преемственность нравственной информации, без которой не обходится ни одна традиция. Есть преемственность заколотых, обезглавленных, расстрелянных, ничего не совершивших и оставивших потомкам только свой облик. Заколотые Гракхи воскресли, через две тысячи лет, во Франции, и их облик, овладев умами, стал силой, когда началась революция. Ни жирондисты, ни якобинцы не установили на земле справедливости. Но обезглавленные тени воскресли в коммунарах 71 года, и тени коммунаров снова поднялись на штурм Зимнего дворца. Признав эту преемственность, советское правительство назвало ли-

нейный корабль Балтийского флота именем «Марат».

Есть такое изречение: «Девушка может петь о потерянной любви, скряга не может петь о потерянных деньгах». Я позволю себе сказать, что ни один народ не может сохраниться, если ему не о чем петь. Народы, которым было о чем петь, переносили века угнетения и рассеяния, снова поднимались и собирались.* А державы, ничего не имевшие за душой, кроме культа воинских доблестей, грубой силы, солдата — после первого поражения рассыпались в прах. Обо всех этих солдатских державах сказано в летописи: «погибоша аки обре (авары), их же несть ни племени, ни наследка».

Перехожу ко второму пункту. Что такое прогресс? Если отбросить оценки, то реальное содержание прогресса дифференциация. Была амёба, дифференцировалась, возник многоклеточный организм. Но вместе с дифференциацией пришла смерть. Амёба в известном смысле бессмертна; она делится на две половинки, и обе половинки продолжают жить (если их не убить). А соматические клетки, отделившиеся от половых — смертны с момента рождения, не могут не умереть. Таким образом прогресс связан с некоторыми утратами.

То же самое в обществе. Примитивные коллективы удивительно устойчивы, а цивилизации разваливались одна за другой. Поэтому не всякая дифференциация хороша, а только такая, которая не ведет к распаду, к «совместной гибели борющихся

* Индийская культура существует тысячи лет, почти никогда не достигая политического единства. Духовного единства оказалось достаточным.

классов». Хороша только дифференциация, в ходе которой перестраиваются и обновляются социальные интеграторы (объединяющие воспоминания, идеи, образы, учреждения). Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывают старые интеграторы. Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли падением нравов, а Маркс назвал «отчуждением». Это развитие заслуживает название прогрессивного не более, чем прогрессивный паралич.

Монтень сказал: простые крестьяне — прекрасные люди, и прекрасные люди — философы. Но все зло — от полуобразованности... Он имел в виду, конечно, нравственную полуобразованность. Крестьянин связан системой табу, мало отличающейся от племенной. Эта система запретов, нравственный опыт коллектива, сохраняет отдельного человека, не способного еще к полной свободе, как нравственное существо. Напротив, философ — человек, понявший дух (целостность) законов и поэтому свободный от обязательного выполнения отдельных правил. В древности говорили: «Мудрому не нужен закон, у него есть разум». Или, в средневековых терминах: «полюби Бога — и делай, что хочешь» (что хочешь, разумеется, в рамках морального поведения в целом; что хочешь — в частностях).

А полуобразованность — это то, что в Библии названо словом Хам. Хам — человек, несколько хвативший просвещения. Настолько, чтобы не бояться нарушить табу. Но не настолько, чтобы своим умом и опытом дойти до нравственных истин.

В XX веке хамство стало очень острой проблемой, и этим мы обязаны прогрессу. Массы крестьян были вырваны из патриархальных условий, в которых держались патриархальные табу, урбаниз-

рованы. Там, где развитие происходило особенно быстро, в странах Центральной и Восточной Европы, позже вступивших на путь прогресса и торопившихся догнать и перегнать, рост хамства был особенно грозным. Он поставил под вопрос само существование европейской цивилизации.

В какой мере это было неизбежным? Чтобы подойти к ответу, сравним две соседние страны, Германию и Данию. В обеих формально сохранялась одна и та же система символов, в которой высшие моральные ценности были связаны со словами «Христос», бессмертие души» и т. п. В обеих странах происходило развитие капитализма. Но в Дании не было социальных катаклизмов и глубже (не шире, но глубже) распространялась культура. Еще во времена Андерсена пастор Грундтниг учредил первые зимние университеты, в которых крестьян знакомили со всеми богатствами, созданными человеческим умом. И датский крестьянин, переставая быть патриархальным, становился интеллигентным. А в Германии (при содействии социальных катаклизмов, которые всем памятны) возник тип штурмовика.

Когда эти штурмовики оккупировали Данию, фашистская комендатура издала приказ: всем евреям зарегистрироваться и надеть желтые звезды. Стандартный фашистский приказ. Но дальше началась сказка. Король и королева Дании вышли на прогулку, нацепив на себя желтые звезды. Через полчаса их нацепил весь Копенгаген, через несколько часов — вся страна. Гитлеровцам пришлось отменить приказ. А через несколько месяцев при повторной попытке «окончательного решения», закон-

ных носителей желтых звезд на лодках переправили в Швецию.

Я думаю, что эта сказка со счастливым концом неслучайно произошла на родине величайшего сказочника Ганса Христиана Андерсена. Быть может, именно он подсказал королю и королеве поступить так, как короли поступают только в сказках, и народу поступить так, как ведет себя народ в пьесах-сказках Евгения Шварца, но, к сожалению, далеко не всегда в жизни. В Германии, по-видимому, детей воспитывали немного иначе, чем в Дании. Это — та бабочка Бредбери, на которую второпях наступили. Я не утверждаю, что не было других причин благородного поведения датчан и неблагородного поведения немцев; но все же, посетив Данию, я положил бы цветы на могилу Ганса Христиана...

Таким образом, мы приходим к выводу, что не всякий прогресс хорош — не всякий прогресс «прогрессивен». Прусский путь развития капитализма оказался достаточно скверным (это, как все помнят, говорил еще Ленин). И теперь, опираясь на сказанное, попробуем оценить, все ли пути социализма хороши?* Наилучшим ли возможным путем развития социализма вел нашу страну Сталин? Был ли Сталин прогрессивным деятелем? И куда нас влечет его тень, его облик?

* Интересно рассмотреть, с этой точки зрения, формы окончательного решения аграрного вопроса, применявшиеся Мао Цзэ-дуном в начале 30-х гг.: семьи помещиков уничтожались полностью, чтобы не оставалось наследников. См. А. Смедли, Рассказы о китайской Красной Армии. М., 1935.

Чтобы ответить на вопрос, надо его правильно поставить. Надо ясно различать мандат, который деятель не может не выполнять, и его личный вклад. Сталин получил власть на известных условиях и, пока он не превратил свою власть в абсолютную, не мог ими пренебрегать. Он не мог не проводить индустриализацию, кооперацию сельского хозяйства, не мог не руководить международным рабочим движением, не мог не заботиться об обороне страны. Любой другой деятель, избранный генеральным секретарем, решал бы те же задачи. Поэтому важно не то, что Сталин делал, а как он это делал. При такой постановке вопроса, в актив Сталина можно поставить только индустриализацию (и то с известными оговорками)*. Все остальное — пассив.

Ленинский план постепенной кооперации сельского хозяйства, утвержденный съездами, Сталин внезапно, произвольно заменил приказом проводить сплошную коллективизацию. Таким образом, вопреки сопротивлению многих честных коммунистов (в частности, Постышева), была искусственно создана ситуация, требовавшая массового применения репрессий против крестьян. «Великий перелом» не слишком сильно отличался, в этом отношении, от китайского «большого скачка». В обоих случаях идея кооперации, коллективизации была скомпрометирована, воля крестьян к труду пришла в упадок, и пришлось посылать людей из города убирать урожай.

* Известные экономические успехи были достигнуты ценою опасного роста внеэкономического принуждения, наносившего ущерб основе производительных сил, рабочей силе, — воле человека к труду.

Далее, в руководстве международным рабочим движением Сталин нацеливал коммунистов на борьбу до последнего вздоха с социал-демократами (их называли по-сталински «социал-фашистами»).

Это исключало возможность единого фронта против Гитлера. В иностранной коммунистической печати высказывались мнения, что такая политика расчистила Гитлеру дорогу к власти. Есть сторонники высказанной точки зрения и среди советских историков. Следовало бы ее серьезно обсудить.

Внутри страны, под предлогом борьбы с пятой колонной, Сталин спровоцировал события, вызвавшие совершенно чудовищную, катастрофическую волну репрессий (1934-1939). Оборона страны не только не была укреплена, но она положительно была расшатана и дезорганизована. (Об этом хорошо рассказано в недавно вышедшей книге Некрича «1941 год».) Экономическое развитие страны было задержано, армия обезглавлена накануне боев. Культура понесла утраты, которые просто невозможно учесть.*

Задача культурной революции, которую Ленин

* Масштаб репрессий 1934-1939 гг. — одна из загадок истории. Можно допустить, что Сталин, после голода на Кубани и Украине, не имел выбора, и либо должен был уйти с поста, либо — подавить возможность какой бы то ни было критики. Но даже с этой точки зрения, хватило бы одной десятой части произведенных арестов, пыток и расстрелов. То, что случилось, выходит за рамки какого бы то ни было трезвого человеческого расчета, даже злодейского. Возникает впечатление, что процесс, вырвавшийся из-под контроля, руководил теми, кто воображал, что руководит им.

считал одной из важнейших, в целом была совершенно извращена. Распространение элементарной грамотности и технических знаний сопровождалось нравственным растлением в обстановке травли честных людей, доносов, подсиживания*, подавления самых элементарных человеческих чувств. Тысячи раз разыгрывалась трагедия Антигоны, которой Креонт запрещал хоронить брата, под хор молчаливых, шептавших: моя хата с краю, я ничего не знаю... А в лагерях воры воспитывали честных людей в духе своей морали: «Умри сегодня — я умру завтра».

Этот разгром культуры был завершен в 40-е годы под лозунгом борьбы с космополитизмом. Русская культура — одна из самых отзывчивых на свете — впервые после Петра была замкнута в собственной скорлупе. Национальное чванство стало нормой. Нарушения этой нормы карались (1949-1953).

Несмотря на все, народы нашей страны сохранили человеческий облик; несмотря на чудовищные условия, даже в лагерях остались такие люди, как Иван Денисович. Даже в 30-е и 40-е годы создавались хорошие стихи и проза, писалась музыка Шостаковича и Прокофьева. Но характер Ивана Денисовича или музыку Шостаковича нельзя считать заслугой Сталина.

Таким образом, ленинский мандат выполнен Сталиным примерно так же, как Мефистофель выполнял наказ Фауста переселить Филемона и Бавкиду**.

* Достаточно вспомнить о деятельности Презента и Лысенко.

** Гёте «Фауст», ч. 2, акт 5.

Дело, однако, не только в этом. Кроме писаного мандата Программы партии — Сталин прислушивался к неписанным мандатам, носившимся в воздухе. И по мере того, как он укреплял свою власть, эти неписанные мандаты играли все большую и большую роль в его деятельности.

Прежде всего, это мандат того, что Ленин называл «азиатщиной». Вы помните, наверное, статью «Памяти графа Гейдена», раб не виноват, что находится в рабстве. Но раб, который жить не может без хозяина, это холуй и холоп. Века татарщины и крепостного права оставили достаточно внушительную традицию холуйства и хамства. Революция поколебала ее, — но, с другой стороны, революция вывернула с насиженных мест массы крестьян, потерявших старые устои и не очень усвоивших новую идеологию. Эти массы вовсе не хотели углубления и упрочнения свободы, да и не понимали, к чему она — свобода личности. Они хотели хозяина и порядка. Таков сталинский мандат № 2.

Третий мандат — это мандат обезглавленной религии. Мужик верил в Бога, и в образах Спаса или Казанской Божьей Матери находил предмет любви и бескорыстного преклонения (корыстные истины религиозного чувства я склонен отнести к мандату № 2). Мужика объяснили, что Бога нет, но это не упразднило религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся бога, земного бога, о котором невозможно сказать, что его нет. Он был, был в Кремле, изредка показывался на трибуне и помахивал рукой. Он неусыпно заботился о том, чтобы волос не упал с трудящейся головы. Он был лучшим другом железнодорожников, физкультурников и балерин...

Бессознательно-религиозное чувство, давшее Сталину мандат № 3, само по себе было чистым. Можно иллюстрировать его стихами Твардовского, опубликованными после смерти Сталина. Но лучше всего это высказывали дети:

Я маленькая девочка,
Танцую и пою.
Я Сталина не видела.
Но я его люблю.

Слово «Сталин» здесь легко заменить любым другим символом всеблагого, всемогущего, всеведущаго существа, источника всех совершенств — или, как тогда говорили, вдохновителя наших побед. Изменится только размер.

Каким образом Сталин мог осуществлять три таких разных мандата одновременно? Для этого, конечно, нужен был талант, особый талант. На языке Сталина этот талант назывался двурушничеством.

И. В. Сталин любил себя сравнивать с коронованными особами — с Петром Великим, Иваном Грозным. Поэтому сравним его — в его же вкусе — с Наполеоном. Все, вероятно, помнят лаконичную характеристику:

Мятежной вольности наследник и убийца...

Такое сравнение, конечно, не является ни исчерпывающим, ни точным. Я позволю себе провести еще одно сравнение, также не исчерпывающее и неточное, снижающее сравнение, с некоронованным деятелем — Азефом. Азеф был руководителем Боевой организации эсеровской партии и агентом тайной полиции. В качестве эсера он организовал

казнь своего прямого начальника по полицейской работе, министра внутренних дел фон Плеве. Под руководством Азефа успешно были проведены и другие террористические акты.

Примитивный пример дает известный подход — модель подхода — к бесконечно более сложному вопросу об оценке личности Сталина. Азеф совершил дела, которые могли бы рассматриваться как заслуги перед революцией — или, по крайней мере, перед эсеровской партией. Но у провокатора нет заслуг. Поэтому вопрос, применительно к Сталину, можно сформулировать так: был ли Сталин когда-нибудь не только идейно (то есть на словах), но нравственно, всем существом, на уровне движения, к которому примкнул? Тогда — и в этот период — у него могли быть известные заслуги. Или верно то, что написал Ленин в своем завещании, и Сталин — нравственно чужеродное тело в руководстве партии? Тогда он просто занял и удерживал, с помощью интриг и террора, место, принадлежащее более достойному. Тогда в целом он приносил вред, хотя в отдельных частных случаях мог принимать верные решения.

Очень любопытно проанализировать завещание Ленина и то, как полемизировал с этим завещанием Сталин. Смысл завещания ясен. Сталин как человек совершенно не годится в руководители. Его надо заменить. Можно заменить его такими-то. У каждого из них есть свои недостатки, свои (неслучайные) ошибки. Надо подумать, кого выбрать.

Ленин ничего не говорит об идейных ошибках Сталина — не потому, что их не было. Они были. Но сравнительно с кардинальным фактом нравственной непригодности это не имело значения. И

Сталин ловит Ленина на слове. Он цитирует завещание: «Ошибки Зиновьева и Каменева... не случайны так же, как меньшевизм Троцкого», а против Сталина политических обвинений нет, только характер, дескать, плохой.* Иначе говоря, И. В. Сталин сам о себе рассудил по Н. Коржавину:

Был я видом довольно противен,
Сердцем подл — но не в этом суть...

Почему такие аргументы убедили делегатов съезда? Потому что точка зрения Ленина была новой и непривычной.

Принято было считать, что подлинный революционер по самой своей природе — существо бесконечно более нравственное, чем обыватели, рассуждающие о Боге и добре — и пресмыкающиеся перед властью. Поэтому нравственные недостатки революционера мыслились как второстепенные и поверхностные черты его личности. Ленин впервые резко указал на особый социально-психологический тип «повара, любящего острые блюда», любителя острых ощущений, любителя экспроприаций, террора и т. п. ради них самих. Такой тип не был совершенно нов. Он попадает в революционных движениях систематически, рядом с типом подлинного революционера (страстного борца за справедливость). Но пока революционная партия в подполье, пока борьба требует самоотверженности и обещает только каторгу или казнь, общий нравственный уровень революционера настолько высок, что «повара,

* См. сборник статей Сталина «Об оппозиции», М. 1927.

любящего острые блюда» можно просто игнорировать. Только когда революция побеждает, положение меняется; в состав организации, осуществляющей революционное насилие, неизбежно попадают люди самого различного нравственного уровня. Рядом с Робеспьером оказывается Фукье-Тенвиль, рядом с Орджоникидзе — Берия. Опираясь на людей второго сорта, «повар, любящий острые блюда» может стать на время хозяином положения.

Опасность была новой, непривычной, неожиданной, и делегаты съезда оказались в плену инерции — придавать значение только идейным различиям, игнорировать «мелкие» нравственные различия. За свою ошибку они заплатили жизнью. Почти все, голосовавшие за Сталина, погибли в сталинских тюрьмах.

Перехожу к следующему: куда нас влечет тень Сталина? Некоторые товарищи находятся под впечатлением воспоминаний молодости, когда вставали под кинжальным огнем пулеметов и со словами «За родину, за Сталина!» — поднимали солдат. Им кажется, что лозунг «За Сталина» и сейчас значит то же, что он значил тогда, — скажем, в 1943 году.

В 1943 году я сам кричал «За родину, за Сталина!» В 1943 году «За Сталина» означало «против Гитлера». История не дала нам лучшего выбора. Целое поколение оказалось в положении Кандида, которому офицер велел выбирать: повешение или пройти сквозь строй. Сколько Кандид ни возражал, что ни тот, ни другой вариант не отвечает его свободному выбору, офицер остался непреклонен. В жизни это было совсем не смешно. В 1937 году — рассказывает в своих мемуарах Эренбург — Николай Иванович Бухарин самовольно выехал в Париж, побро-

дил несколько дней по улицам — и, ничего никому не сказав, вернулся в Москву (примерно понимая, что его ждет). Он не мог остаться. Логика борьбы заставила бы его тогда обличать Сталина, Сталин уже успел мертвой хваткой вцепиться во власть, и бить по советской системе. А советская система почти неизбежно должна была столкнуться с фашизмом. Не потому, что Сталин не любил Гитлера, — он, может быть, испытывал какое-то странное влечение к Гитлеру до 1941 года* — но по логике самой системы, более сильной, чем воля Сталина. И нельзя было производить хирургические операции, бить по советской системе, хотя бы для того, чтобы вылечить ее, перед лицом Гитлера. И Бухарин вынужден был молчать — а потом и говорить...

Так было четверть века тому назад. Но сейчас «за Сталина» вовсе не значит «против Гитлера», «против фашизма». Гитлер капут, а Сталин умер и разоблачен. Хорошо это или плохо — разоблаченный кумир нельзя снова облачить. Можно издать какое-нибудь постановление, но оно будет не более действительным, чем резолюция Николая I на жалобе помещика, дочь которого самовольно вышла замуж: «брак расторгнуть, урожденную такую-то считать девицей». Сталин, оказавшийся деспотом и убийцей, не может снова стать достойным уважения — не говоря уже о любви.

Восстановить уважение к Сталину, зная, что он делал, — значит установить нечто новое, установить

* В отношении Сталина к Гитлеру был какой-то заскок. Сталину не хотелось верить в вероломство Гитлера. См. книгу Некрича.

уважение к доносам, пыткам и казням. Это даже Сталин не пытался сделать. Он предпочитал лицемерить.

Восстановить уважение к Сталину — значит установить около нашего знамени нравственного урода. Этого еще никогда не было. Делались мерзости, но знамя оставалось чистым. На нем было написано: «Ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Около знамени стояли и стоят в нашем представлении Маркс, Энгельс, Ленин — люди, у которых были человеческие слабости, но люди. О всех них можно сказать словами любимой поговорки Маркса: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Сталина нельзя больше ставить рядом с ними. Это значит испачкать грязью свое знамя.

Надо суметь отделить знак антифашистской войны, Сталина, от ее значения. Подвиг народа в Отечественную войну 1812 года не стал менее значительным от того, что во главе государства стоял «плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой...» И подвиг народа в великой войне с фашизмом не станет менее значительным от того, что во главе государства оказался Сталин.

Некоторых пугает угроза нигилизма, идеологический вакуум. Но доморощенные культы неспособны заполнить вакуум. Они распадаются, как карточные домики.

Одна из важнейших причин «вакуума» — столкновение религиозного и научного мировоззрения. Тысячелетний нравственный багаж человечества был закодирован в форме, которая называется «мировыми религиями». Научное мировоззрение расшатало мировые религии, но оно не могло с ходу создать об-

разы нравственной цельности и красоты, сравнимые с Буддой или Христом. Это вообще, по-видимому, задача не науки, а поэзии, и процесс, не поддающийся управлению, процесс очень длительный, вековой и даже, может быть, многовековой. Поэтому от красногвардейской атаки на религию мировое коммунистическое движение уже фактически перешло под влиянием событий, к другой форме контактов с религией, к *диалогу* (о котором довольно много пишут в «Проблемах мира и социализма»). Мне кажется, что диалог с мировыми культами, в активе которых — искусство Баха, Рублева, Данте — более достойный путь, чем восстановление культа деспота и убийцы. В ходе диалога следует искать своего рода единого фронта культуры против «ультра» всех оттенков, против логики, ведущей человечество в пропасть, за превращение нынешних полуобразованных масс в подлинно интеллигентные народы. Настоящая, глубокая культура, настоящая интеллигентность — единственный выход из современного «вакуума».

Я не пытаюсь здесь исчерпать или хотя бы перечислить проблемы, стоящие перед нашей страной. Решение этих проблем требует совместных и по возможности организованных усилий экономистов, социологов, семиотиков, педагогов и т. п. Но прежде всего нужен нравственный сдвиг. Нужно возрождение самой элементарной (низшей, по мнению Платона) добродетели — мужества. Мужества общественной мысли. Того, что разрушил Сталин.

1965

ПО ПОВОДУ ДИАЛОГА

Когда-нибудь историки советского общества отметят, что в тридцатые годы Бетховен привлекал гораздо больше симпатий, чем Бах, и что живопись Ренессанса казалась бесспорно интереснее средневековой. Это будет легко и просто объяснить. Но затем наступили перемены, которые объяснить значительно труднее. Популярность церковной живописи (иконописи) и церковной музыки быстро растет. Любая лекция по иконописи собирает толпы слушателей (в огромном большинстве — атеистов). Любая книга по иконописи становится бестселлером и украшением книжного шкафа.

Вслед за Андреем Рублевым и Феофаном Греком выходят из забвения (или полузабвения) имена их вдохновителей — Сергия Радонежского, Григория Паламы. Читаешь про спор о природе фаворского света с неожиданным интересом. Такие понятия, как «ливантийское православие» и «мистицизм», утрачивают простой (негативный) смысл, становятся чем-то сложным и противоречивым. Напрашивается мысль, что и они, как некогда мифология греков, были «почвой и арсеналом» великого искусства.

В этом же направлении работает консерватория.

И хочется понять: что же нам нравится в искусстве, идеи которого, казалось бы, не должны нравиться? Монографии, брошюры, концертные программы и вступительные лекции отвечают: нравится человечность, народность и т. п., вдохновлявшие художника вопреки его религиозной ограниченности. Однако на практике очень трудно понять, где

кончается искусство и где начинается религия. Текст баховских «Страстей», что ни говорить, — Евангелие. Текст «Всенощной» Рахманинова — всенощная. От этого никуда нельзя уйти.

Катехизис — скучная вещь, но Библия, Евангелие, Коран, Бхавадгита, джатаки (легенды о прошлых рождениях Будды), гимны поэтов-благов (поклонников Вишну и Шивы), гимны сикхов, стихотворения суфиев (мусульманских мистиков), все это давно стоит на полке поэзии, рядом со священными книгами мертвых религий (мифом о Гильгамеше, поэмами Гомера и Гесиода).

Складывается ситуация, которая в юридической практике называется коллизией законов. Одни и те же явления (причем не какие-нибудь второстепенные, а центральные в истории религии) оказываются, с одной точки зрения, эстетическими памятниками огромного значения, а с другой — источником религиозного дурмана. Из этой коллизии каждый выходит по-своему. Ученый, представляющий советскому читателю поэта-мистика, старается доказать что от мистицизма Джалолиддина Руми или Хафиза (или Тагора, или еще кого-то) лучше всего отвлечься, что мистицизм этот очень маленький (как ребенок у анекдотической девушки, считавшей себя невинной). Напротив, автор, пишущий на антирелигиозную тему, никому не дает спуска и сурово попрекает Гомера: «Мифологические образы гомеровских богов отражали примитивное состояние жизни людей родового общества и являлись фантастическим выражением их материальных отношений. Таким образом, с самого начала своего возникновения мифологическая религия не могла обой-

тись без обмана и искажения исторических фактов».*

М. А. Авраамова, написавшая эти строки, даже не задается вопросом: существовала ли во времена Гомера возможность осознать события как ряд фактов, а не так, как это делал Гомер — в форме мифологического эпоса? Вторая фраза совершенно незаконно связана с первой (заимствованной у классиков марксизма) словами «Таким образом». Ни таким, ни другим образом концепция религии как обмана из марксизма не вытекает.

Некоторые атеисты, видимо, не совсем понимают, с чем они воюют, и обрушивают громы и молнии на метафорический, образный язык священных книг. Слово «бог» вызывает у них такое же чувство, как «жупел» и «металл» у замоскворецких купчих. Они забывают, что без образов богов и богинь не будет всего греческого искусства, что без волшебников, фей и русалок зачахнет и умрет сказка, что одно из лучших стихотворений Пушкина, — «Пророк» — написано библейскими метафорами:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...

Есть сюжеты, о которых только и можно писать таким языком. Даже в быту мы не обходимся без прилагательных, на которые строгий атеизм охотно наложил бы вето; например — дьявольский расчет, ангельский голос. Мне кажется, наш язык обнару-

* Авраамова М. А. Из истории античного атеизма. М., 1961, стр. 7.

живает здесь широту, которой не хватает иногда научному атеизму. Язык стихийно признает, что мифологические образы и сейчас ценны для понимания мира. Правда, таких предметов, как дьявол или бог, не существует. Но не все в жизни предметно. Есть мужество не только в муже. Есть зверское вне зверя. И есть нечто, не поддающееся локализации ни в одном предмете, но тем не менее реальное. Это недопустимое глазу реальное. Это недоступное глазу реальное локализовано мифологическим сознанием в фантастических предметах. Мифологическое сознание, конечно, путаница, но не простая путаница. Это также мышление логически немыслимого, не поддающегося строгой формализации, в фантастических образах. Именно поэтому мифология всегда была «почвой и арсеналом» великого искусства. Теперь язык постепенно отбрасывает фантастические подлежащие, сохраняя, однако, образованные от них определения (волшебный, колдовской). Поэзия же, если ей нужно, сохраняет и подлежащие — как метафоры.

Должен ли атеизм сражаться с поэзией? Я думаю, что подлинно научный (а не вульгарный) атеизм добивается другого: понимания, что картина, нарисованная Пушкиным в стихотворении «Пророк», не является описанием события в пространстве и времени. Сам Пушкин это хорошо понимал и ясно высказал в примечании к одному из своих «Подражаний Корану»: «Плохая физика» — но зато какая поэзия!» Авторы Книги бытия, Эдды, Махабхараты и других подобных книг смешивали образ, выражающий поэтическое чувство целостной жизни, — с констатацией факта. Одна из задач науки — устранить путаницу, добиться ясного понимания разницы между языком метафор и языком поня-

тий. То, что устарело и ложно в знаковой системе «физика», в знаковой системе «поэзия» может сохранить смысл...

Если мы разобрались в этом, то можно понять и другое: на чем держится связь мифологической символики с этикой. Без известной доли высокой поэзии не обошлась ни одна устойчивая этическая система. Все они дают не только систему предписаний, но еще нечто другое: эстетику поведения. Религиозное воспитание, основанное на любви к тому или иному мифологическому или легендарному персонажу, оказывается эффективнее, чем простое изучение нравственных правил, отчасти просто потому, что первое — говорит и уму, и чувству, а второе — только уму.

Кроме того, религиозная мораль догматична. Догматизм, в глазах передового читателя, — синоним зла. Однако всегда ли? Попробуем допустить, что догма — не всегда зло, что известная степень морального догматизма — может быть и благо. Это звучит парадоксально, но мало ли парадоксов оказывалось истиной?

Догматизм крайне вреден в науке, это бесспорно. Свобода мысленного и практического эксперимента ничем не должна здесь ограничиваться. Но оправданы ли эксперименты в морали, опыты Раскольникова со старушкой и Лизаветой, геометрические выкладки, основанные на постулате «все позволено»? Я думаю, что десять заповедей Моисея (или 10 правил поведения Будды) очень хорошо отредактированы и удивительно мало устарели за две с половиной тысячи лет: не отнимай чужой жизни — не бери того, что тебе не принадлежит, — не лги...

По сути дела, заповеди — новая редакция системы табу, то есть морального опыта десятков тысяч

лет первобытно-общинного строя. В классовом обществе этот опыт рухнул вместе с племенем. Стало неясно, как относиться к соседу, «ближнему»: как к человеку (сородичу) или дьяволу (инородцу)? Религиозные законодатели дали новую систему предписаний, распространив внутриплеменную структуру отношений на всех людей. Система заповедей обладает некоторыми неповторимыми особенностями. В отличие от табу, — которые выполняются безусловно и беспрекословно, — заповеди ни в одном реальном обществе строго не выполнялись. В конце концов это было узаконено. Фома Аквинский признает, например, что кража прощительна, если альтернативой является голодная смерть. Заповеди регулируют поведение скорее как пружина (которая может сжиматься с разжиматься), чем как решетка или барьер. Поэтому возможна система заповедей, которая и не рассчитана на буквальное выполнение (средним человеком, не святым). Было хорошо известно, что заповеди Моисея, сравнительно выполнимые, дурно выполняются. В ответ христианство дает (в Нагорной проповеди) еще более строгую систему, еще более увеличивает напряжение пружины. В то же время, совершенно отбрасываются наказания нарушителям заповедей (не считая кроткого порицания). Нравственность отделяется от права, кара за преступление предоставляется совести. Когда к Христу приводят женщину, схваченную в прелюбодеянии, он отпускает грешницу. Правовая защита от преступлений теряет религиозную окраску, становится чисто светской функцией государства (Богу — богово, кесарю — кесарево). Этот новый принцип в средние века был нарушен, но снова всплыл и сейчас, пожалуй, общепризнан среди христиан.

Таким образом, рост моральных требований сое-

диняется в новозаветной религии с растущей снисходительностью к грешникам (нарушителям моральных норм). На первый взгляд, трудно понять, какой здесь может быть смысл, но смысл был. Христианство (как и буддизм, во многих отношениях сходный с ним) возникает в дифференцированном обществе, с культурой, верхний уровень которой не каждому доступен. Отсюда снисходительность к невежественным, забитым, запутавшимся «малым сим», минимальность требований к ним — и в то же время максимальность требований к тому, кто «способен вместить». Князь Мышкин, получив пощечину, не дает сдачи, потому что Ганя Иволгин, сравнительно с ним, слепой (духовно), своего рода инвалид. Зрячий слепому сдачи не дает. Но если подрались слепые, не считается большим грехом дать сдачи.

Благодаря такой структуре христианство легко приспособлялось к практически существовавшей нравственности различных слоев общества, часто до того, что совершенно теряло своей первоначальный импульс, растворялось в «языческих» нравах крестьян, горожан, рыцарей и т. д., слегка лишь их скрашивая. В этом смысле исторический анекдот о князе Владимире довольно верен: религия благодати разрешила свинину есть и водку пить. Против излишней снисходительности систематически восставали различные секты, выдвигая равные для всех нравственные требования. Но они никогда не в состоянии были охватить всего общества.

В истории религиозной морали много причудливых и временами нелепых крайностей, много преступлений и ошибок, но есть и своя, веками обточенная и отшлифованная правда, есть опыт веков, к которому стоит внимательно присмотреться. Ка-

ковы бы ни были недостатки христианства, буддизма и т. п., — это работоспособные и работающие этические структуры. Разрушить или, по крайней мере, резко ослабить их — сравнительно легко (по отношению к буддизму, благодаря некоторым его особенностям, совсем легко: достаточно изъять монахов). Однако не так легко заменить их. Стоит еще раз отметить, что во всех работоспособных системах морали заповеди мотивированы эмоционально, любовью к тысячелетиями выношенному эстетическому идеалу. Это не ряд теорем, выведенных из тех или других постулатов, и не ряд прецедентов, постановлений и т. п., основанных на тех или иных случаях, а кристаллизация опыта личности, непосредственно, как личность, осознавшей требования общественной жизни как свои собственные и высказавшей общественное как личное, в неповторимой индивидуальной форме. В христианстве и в некоторых течениях восточных религий художественный идеал поведения (в простейшем случае — образ Будды, Кришны, Христа) стоит на первом месте, как воплощение духа заповедей, а «буква» заповедей играет второстепенную роль, на уровне критической статьи, поясняющей и разлагающей на элементы истинный только в целом контекст драмы. Очень просто написать новую критическую статью, но вряд ли кто возьмется написать нового Гамлета. Так же трудно вступить в соревнование с Рублевым и Бахом и создать нового Христа (т. е. не Христа буквально, а образ, сравнимый с образами Баха и Рублева по эмоциональной силе. Я не говорю, что это невозможно, но для создания новой традиции нужны целые века подготовительной работы; никакими распоряжениями ее не ускорить, и техника здесь бессильна).

Время настойчиво требует отбросить все предрассудки, в том числе предрассудки «просвещенного» рассудка. Просветители были правы, указав на противоречия и нелепости религиозной традиции, но они ошибались, не заметив в религиозной традиции ничего, кроме нелепостей. То, что нам нужно, — это диалог с религией, в котором участвует современная наука (в частности, наука о знаковых системах, семиотика) — а не эпигоны XVIII столетия, интеллектуальная «техника» которых находится на уровне первых паровых машин.

Диалог с религией представляется мне необходимым не только тактически, как прием убеждения (все такие приемы не многого стоят), но совершенно всерьез, как форма выработки чего-то нового, новой, еще и нам не известной культуры.

Архаические формы мудрости были несовершенной записью глубокого и важного для человечества опыта, коллективного опыта многих тысячелетий. Мировая религия — только последняя редакция этого опыта; корни его восходят к древнему каменному веку. На ранних ступенях это была ритуальная культура, несшая в себе нерасчленившиеся элементы религии, науки, искусства, бытового обряда. В будущем, по-видимому, сложится новая культура, которая примет и реорганизует опыт нынешних мировых религий примерно так же, как они приняли и впитали в себя дохристианские, добуддийские и т. п. национальные и племенные традиции (часто прямо противоречивые их догмам). Но это невозможно сделать быстро, за несколько десятков лет, выхватив рождественскую елку и отбросив Рождество, восстановив венчальное белое платье и отбросив венчанье. Культуру нельзя

сшить из нескольких лоскутов, соединенных несколькими фразами.

Антирелигиозная пропаганда двадцатых годов, при всей своей примитивности, выполнила полезное дело. Она была своеобразным условием и спутником индустриализации. Борьба против суеверий и магического мышления проложила дорогу технической революции, уничтожила сопротивление переменам в традиционных способах производства. С этой точки зрения даже противники коммунизма признают завоевания культурной революции в СССР.

Однако пропаганда двадцатых годов (к традициям которых Н. С. Хрущев попытался вернуться) была очень топорной. Она разрушила религиозные праздники, разрушила (или нарушила) систему поэтических символов, тесно связанных с нравственными представлениями, и очень мало сделала в борьбе с догматизмом, нетерпимостью, фанатизмом, ханжеством, слепым доверием к авторитету, идолопоклонством. Все эти негативные стороны традиционных религиозных систем оказались очень живучими и только приняли новые формы, словесные облики. В итоге, гуманизм и свободомыслие оказались перед лицом нового противника, и борьбу приходится начинать заново (это называется теперь борьбой с последствиями культа личности; и те же люди, которые требовали беспощадного разрушения старых легенд, временами ревностно защищают новые).

Что дало, например, разрушение религиозных праздников? Нельзя ответить на этот вопрос, не поняв, что такое праздник, а ведь мы действовали, не понимая этого. Первая серьезная книга по теории праздника была написана только в 1940 году и опубликована в 1965. Это диссертация М. М. Бахтина

«Творческий путь Рабле». Нечего говорить, что одной книгой проблему праздника нельзя исчерпать, что концепции М. М. Бахтина — только первая модель очень сложной общественной структуры.

Праздник с древнейших пор мыслился не просто как отдых, но как высший, священный акт. И в этом был смысл. В своей трудовой деятельности человек расчленяет мир на отдельные, ясно ограниченные предметы (классы предметов). Это необходимо, чтобы отделять съедобное от несъедобного и т. п. Но это разрушает целостный образ мира и связанную с ним целостность человеческой личности. Привычка к анализу, обращение внутрь, приводит к тому, что Гоголь и Маркс называли «отчуждением», то есть отношением к самому себе как к отдельному предмету, как к атому, в одиночестве противостоящему миру. Эта проблема (как и все подлинные проблемы) не придумана в XX веке, сейчас она только обострилась, но человечество всегда решало ее, и решением был праздник. Праздник уравнивает рассудочную деятельность ума фантастической игрой образов, инерцию трудовых усилий — ритмом хоровода. В праздничном обряде возникает другая действительность, в которой стираются грани между предметами, все переливается во все, и возрождается целостность вселенной и человека.

По мере усложнения и интеллектуализации труда, искусство праздника тоже усложнялось, интеллектуализировалось. Место примитивной пляски занял внутренний танец образов, бурное карнавальное веселье отодвигается на второй план, уступив первый более глубокому «веселию духа». Но по своей социальной и психологической функции месса Баха или 9-я симфония Бетховена делают то же самое,

что ритуальный танец. Практическое отношение к жизни отбрасывается, природа становится не мастерской, а храмом, благоговейное созерцание целостности бытия служит прологом к вспышке радости.

Мировые религии далеко не всё из этого единства благоговения и разгула сумели сохранить. Они многое засушили, превратили в суровое занятие «работника, приставленного к делу спасения своей души» (так определял человека Лев Толстой). Но что-то было не только не разрушено, а развито, и литургия — это памятник культуры (не в меньшей мере, чем каменная оболочка церкви, на которой часто вешается табличка: «охраняется законом»). Надо этот памятник культуры глубоко изучить, изучить до способности создавать не худшие праздничные структуры, а пока это не сделано — по крайней мере, не ломать.

Массы, оставшиеся без праздника, легко дичают. Неполное образование, которое получает средний цивилизованный человек, не дает ему законченной культуры, не заменяет старой нравственно-эстетической традиции. Это сказывается на недобросовестности труда, на росте хулиганства, преступности, пьянства, наркомании, разврата. В некоторых исторических условиях это увеличивает шансы фашистских и других погромных движений.

Фашизм, как показал опыт, возникает в странах, относительно развитых, цивилизованных — но не в тех, которые медленно, веками шли по пути буржуазного прогресса (Англия, Голландия), а в других, опоздавших и стремительно двинувшихся вперед (Германия, Италия). Это явление, возникающее не среди патриархальных крестьян, а в городах, в

массах, выбитых социальными сдвигами из привычных условий жизни, брошенных в водоворот непонятных и грозных событий (война, кризис). Это движение полуобразованных масс, утративших религиозную нравственную традицию* и руководимых полуинтеллигенцией, «элитой» специалистов, духовно не превосходящих массы, — «элитой», не дошедшей до подлинной интеллигентности, не овладевшей «всеми богатствами, которые создал человеческий ум», не прикоснувшийся к полноте культуры. Раздраженные, завистливые, они охвачены общей ненавистью к подлинной интеллигенции, которая слишком много знает, к иностранцам (или инородцам), которые слишком много себе позволяют, и к плутократии, которая действительно слишком много имеет. Вера в фюрера (обещавшего разрубить гордиев узел и вернуть маленькому человеку его место в мире) — заменяет веру в Бога. И новые иконоборцы становятся участниками неслыханных по своей разрушительной силе организованных истерик — тем более губительных, чем лучше они организованы (например, в Германии, сравнительно с Италией).

Сейчас эти эпидемии бесчеловечности, еще не совсем выдохнувшись в Европе, перекачиваются на Восток, в Китай, по-своему сопровождая грандиозные социальные сдвиги, начавшиеся там. Перед лицом этих новых фактов атеистический гуманизм не может не протянуть руку религиозному нравственному сознанию. Основной вопрос современности, второй половины XX века, не в том, чтобы поско-

* Хотя вполне сохранивших суеверия, догматизм, фанатизм и пр.

рее разрушить все препятствия на пути прогресса (как полагает председатель Мао)*, — а в другом: как не перевернуться вверх ногами, не попасть на путь «большого скачка» в пропасть; как не *перейти* от ленинской культурной революции к «культурной революции» хунвейбинов.

С этими всемирно-историческими проблемами теснейшим образом связаны микропроблемы: вопрос о нравственной устойчивости отдельной личности, отдельной семьи. Любая организованная религия здесь проводит политику, направленную против пьянства, разврата и прочее.

Короче: атеистический гуманизм, стоящий перед задачей революции, мог откладывать воспитание нравственной личности на потом, до полного коммунизма, удовлетворяясь сложившимися нравственными привычками. Но сейчас, стоя перед задачей стабилизации и укрепления нового общества, мы не можем игнорировать функции, которые в прошлом выполняла, а отчасти и в настоящем выполняет религия. Нравственные привычки легко разрушаются, и надо их возрождать сегодня, сейчас, а не завтра. До коммунизма надо дойти, а дорога очень крута. Было бы чудовищным легкомыслием считать, что история автоматически приведет нас к «ассоциации, в которой свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех». Маркс говорил, что человечество придет к коммунизму или погибнет. Погибать не хочется, и для этого нужны совместные усилия всех, кто против термоядерной

* Быстрота сдвигов уже стала чем-то автоматическим, инерционным.

войны, против фашизма и аналогичных форм нравственного одичания, увеличивающих опасность войны во сто раз.

Поэтому глубоко был прав П. Тольятти, когда он писал: «Нам никак не послужит старая атеистическая пропаганда. Сама проблема религиозного сознания, его содержания, его корней в массах, проблема его преодоления — все это должно быть, поставлено не так, как в прошлом, а по-иному».*

Спор между атеистическим гуманизмом и религиозным нравственным сознанием не снят, но он продолжается на новой основе, на почве общей борьбы за сохранение человечества против эпидемий духовного одичания и военного психоза.

С этой точки зрения в высшей степени интересен диалог между коммунистами и католиками Европы, который идет уже несколько лет, — с каждым годом все более широко и организованно. Инициатива принадлежит здесь католикам — сперва аутсайдерам, вроде Тейяр де Шардена, а потом и князьям церкви. Выступая на Ватиканском соборе, испанский епископ Герра развил целую программу понимания марксизма.

Л. Великович в статье «Диалог католицизма с современным миром»** высказывает мнение, что переход к диалогу говорит о слабости католицизма. Однако коммунисты Европы также стремятся к диалогу и считают своей победой, когда диалог удаётся завязать. Видимо, в современной исторической обстановке диалог объективно необходим, и сла-

* «Правда», от 10 сентября 1964 г.

** «Вопросы философии», М. 1965, № 3, стр. 103-115.

бость обнаруживает тот, кто остается в стороне от него*.

Понимание вовсе не означает капитуляции. В Индии, где религиозные споры не принято было решать с помощью виселицы или костра, индуизм и буддизм несколько веков состязались в понимании друг друга. В конце концов все реальное содержание буддизма было переписано и пересказано языком индуизма, и буддисты растворились в индуистских общинах.

Я полагаю, что монсеньор Герра Кампос стремится именно к такому пониманию марксизма, — а вовсе не к тому, чтобы сбросить рясу и читать антирелигиозные лекции в Сокольниках..., то бишь в

* В журнале «Наука и религия» (за 1967 г.) помещены целых три статьи о диалоге: И. Давыдов. У наших единомышленников. Коммунизм и религия (стр. 53-54); В. Марьянов. Польша — тысячелетняя и молодая (на стр. 60, 62-63); Эвианский диалог (стр. 75-76). См. также В. Холличер. Диалог между марксистами и католиками. «Проблемы мира и социализма» № 8, Прага, 1965 (стр. 57-62). Ср. также статью Т. С. Альвареса О союзе коммунистов и католиков. «Проблемы мира и социализма» № 6, 1965 (стр. 40-48) и Л. Аначкова Важнейшее условие диалога. «Иностранная литература» № 10, М., 1966. (стр. 247-249). Начался «диалог» и в странах ислама. См. Б. Хади Али. Интервью корреспонденту газеты «Unità». «Информационный бюллетень. Материалы и документы коммунистических и рабочих партий», М. 1964, № 16 (стр. 24-28).

парке Мансанарес.* Борьба пониманий — трудная борьба. И чтобы вести ее, надо отказаться от постулата, что научная точка зрения во всех без исключения пунктах превосходит традиционную, логическое мышление — мифопоэтическое.** Кое в чем еще можно поучиться у носителей традиционной мудрости, «вымирающих сторожей аннулированного учреждения» (Маяковский). Это не приведет к порче научного подхода к действительности (он слишком глубоко укоренился!), но может обогатить его и расширить.

Подведем итоги. Быстрый процесс дифференциации общества, связанный с современным развитием производительных сил, создал тенденцию к отчуждению отдельного человека от целостной культуры и — как следствие — к распаду культурной общности. Отсюда объективный рост нужды в развитии знаковых систем, способных играть роль социаль-

* Р. Гароди пишет: «У церкви большой опыт в подобных делах: она поглотила Аристотеля, чтобы превратить его в томизм; она поглотила Платона, чтобы превратить его в августинизм; она поглотила Декарта, чтобы превратить его в философию Мальбранша; почему бы ей не попытаться поглотить Маркса, чтобы превратить его в философию отца Биго?» «Марксисты отвечают своим католическим критикам», М., 1958, стр. 37.

** «Религиозное мышление» и мифопоэтическое мышление — не тождественные понятия. Однако именно мифопоэтический элемент сложных религиозных систем наиболее труден для научного понимания; именно его поверхностный рационализм с легким сердцем объявляет чепухой и вздором.

ных интеграторов, интерес к историческому опыту этих систем, в том числе и формам, сохраненным религиозной традицией (икона, обряд). В то же время существующие религиозные системы находятся в состоянии кризиса (в этом отношении Л. Великович прав). Их интеллектуальный аппарат устарел, их догмы расшатаны. Масса людей, прошедших через 6-8 классов школы, отходит от традиционной веры. Обратное движение, интерес к религии верхушки интеллигенции (если взять западные примеры, католицизм Г. Грина, Г. Белля) — скорее обостряет, чем смягчает кризис, вносит внутрь самых религиозных систем современные заботы и сомнения. Таким образом, обе стороны — и религия, и свободомыслие — не могут уклониться от диалога. Надо понять необходимость его и приготовиться к диалогу «надолго и всерьез».

ОСНОВНЫЕ СУБЭКУМЕНЫ

1. В XIX веке европейские ученые считали, что нормально развивалась только средиземноморско-европейская цивилизация. Что касается Востока (куда попадал и Ближний Восток, и Индия, и Китай), то он вовсе не развивался.

Однако в XX веке такое чересчур простое решение пришлось сдать в архив. Во-первых, выяснилось, что Восток движется и, в сущности говоря, всегда двигался. Во-вторых, выяснилось, что Западная Европа движется совсем не туда, куда собиралась. В связи с этим возникла проблема равноценных локальных форм единого исторического процесса, проблема локальных культур.

Как часто бывает в истории науки, Шпенглер в полемике с эволюционизмом довел идею своеобразия локальных культур почти до абсурда. Однако проблема была поставлена и в течение последних 45 лет стала одной из центральных проблем историографии. Можно сказать, что процесс развития ведет к постепенному устранению локальных различий, что уже капитализм выступает как универсальная система связей, охватывающая весь земной шар. Но нетрудно возразить, что и при социализме остается различие между этническими группами, между отдельными государствами социалистической системы и т. д. Исходя из перспективы единого человеческого коллектива, преодолевшего все нацио-

Фрагмент большой работы по философии истории, в течение четырех лет безуспешно пробивающейся в печать (советскую. — Р е д.).

нальные различия, надо, по-видимому, поставить локальные различия на второе место (после стадильных). Но пока что — различия между локальными культурами, нациями, национальными характерами должны быть учтены.

Каждый национальный характер может быть расчленен на систему противопоставлений, например (по Библии): Христос — Иуда (предел созерцательного бескорыстия и корыстной заинтересованности).

Пророк — патриарх (поведение, замкнутое на общество — и поведение, замкнутое семьей).

Соломон — Самсон (тонкий ум и скепсис — и простодушная грубая сила).

Этот список (который легко продолжить) мы заимствуем из лекций Л. Е. Пинского. У Марины Цветаевой можно найти аналогичную формулу национального характера, сложившуюся под впечатлением первой русской революции: «...герои! Предатели! Пророки! Торгаши!» Читатель может попытаться составить аналогичные системы противопоставлений для других национальных характеров. Он убедится, что, хотя ни один национальный характер не сводится к обывательскому шаблону и каждый раскладывается на систему (например Мышкин — Рогожин, Савельич — Пугачев и т. д.), системы не совпадают. Можно представить себе группу национальных характеров как несколько плоскостей сравнения, имеющих только одну общую (почти общую) ось; тип бескорыстного созерцателя (Лао-цзы, Будда, Христос, ал Халладж, Мейстер Экхарт и др.). Не существует ни абсолютной оторванности локальных культур, провозглашенной Шпенглером, ни принципиального тождества их, на котором настаивали некоторые советские исследователи. В каждой развитой культуре есть люди, для

которых национальные и т. п. барьеры легко преодолимы и человечество — физически ощутимая реальность. И в каждой культуре есть внушительное большинство, для которого национальные барьеры только изредка, от случая к случаю, могут быть преодолены и человечество — едва ощутимая абстракция.

Таким образом, локальная культура — это реальность. На социально-психологическом уровне можно определить ее как инерционный набор возможностей (вариантов, моделей) человеческого поведения, не совпадавший, в большинстве пунктов, с другими наборами. Различия между локальными культурами очень медленно нивелируются — даже в самых благоприятных условиях, когда представители культуры А живут вперемежку с представителями культуры Б, говорят на одном с ними языке и занимаются одним и тем же делом. Но, как правило, различия поддерживаются еще инерцией учреждений (социально-экономических, политических, юридических, церковных) и знаковых систем (язык, искусство, религия).

Приходится как-то учесть локальные особенности, — по крайней мере основных очагов цивилизации, — в общей схеме исторического процесса.

Одна из интереснейших проблем, стоящих перед современной наукой — это анализ причин, по которым именно в Европе, а не в Азии или в Африке, сложилось современное общество. Когда это произошло? В XVII, XVIII вв.? Или промышленная революция только выявила некоторые возможности европейского развития, подготовленные всей предшествующей историей?

Анализ явлений культуры дает здесь любопытный

материал, хотя трудно сказать — вспомогательный или решающий.

В Греции и в Индии примерно в одно и то же время появились философские учения, отразившие «атомизацию» общества, рост индивидуализма.* Можно предположить, исходя из дальнейшей истории Европы, что здесь атомизация была глубже, захватила более широкие слои. Но история философии не дает для этого материала: отчасти потому, что сохранилось мало источников, отчасти же из-за узости социальной среды, в которой бытует философия. Обратимся поэтому к массовым формам культуры — искусству и религии.

Трагедия, как крупное эстетическое явление, появляется дважды: в Афинах V века до н.э. и в Западной Европе XVI-XVII вв. Оба раза можно раскрыть столкновение двух правд, двух систем ценностей: старой, основанной на традиции, и новой, основанной на выкладках индивидуального разума. Оба раза личность, обособившаяся от традиционных связей, атомизированная, в одиночестве противопоставленная миру пытается героически утвердить свое бытие — и падает в пропасть, в пустоту, которую создала в своем обособлении. Оба раза волнует гибель личности, бесконечно значительной, настолько значительной, что с гибелью одного гибнет, в эмоциональном плане, все, вселенная распадается на части. Такая гиперболическая оценка личности и ее

* Философские учения, утверждающие примат «Единого» (Парменид) или «дао», менее враждебны фольклорно-религиозной традиции и впоследствии вновь сливаются с нею (Лао-цзы — Чжуан-цзы — Ле-цзы; Парменид — Платон — Плотин).

гибели — эмоциональная суть трагизма; без этого возможна лишь драма гибели маленького человека, мелодрама или драма растворения в едином (мистерия), а не трагедия. Мелодрамы писались в Китае, мистерии — в Индии. Трагедий, то есть драм типа оссиановских или шекспировских, там не было.*

Несколько позже эпохи греческих трагиков произошел важный сдвиг в истории религий Средиземноморья. Появились учения о бессмертии индивидуальной души (у фарисеев, орфиков, впоследствии в христианстве и исламе). В религиях Индии и Китая индивидуализм гораздо слабее. Для европейцев бессмертие души — основа основ религии и нравственности. Для индийских авторов, пишущих о христианстве, — это пережиток античного атеистического индивидуализма, выросший у европейцев даже в структуру религии. Во всяком случае, это локальная особенность Средиземноморья.**

* Замечанием о мелодраме мы обязаны Л. Е. Пинскому, познакомившему автора со своей неопубликованной работой о Шекспире. Ср. в современной литературе «Гнев Сыма Циня» Го Мо-жо и «Царь темного чертога» Р. Тагора. М. Занд указывал нам на элементы трагизма в иранском эпосе; но вряд ли можно спорить, что трагизм, и связанный с этим трагизм мироизучения, на Востоке менее развиты.

** Очень интересно эту проблему поставил G. Masih. Противоположная (европоцентрическая) точка зрения ярко выражена у современного христианского философа Николая Бердяева («Философия свободного духа», Париж, 1927, ч. 2, стр. стр. 129, 226, 233).

2. Таким образом, история искусства и история религии подтверждают гипотезу, что в Средиземноморье кризис фольклорно-религиозной традиции глубже захватил массы, чем в Индии или в Китае. Конечно, крестьяне и в итальянской горной деревушке остались достаточно далекими от противоречий, волновавших Рим. Но, во всяком случае, они были христианизированы. Греко-римская фольклорно-религиозная традиция была разрушена и заменена приспособленной к новым условиям, но по сути своей чуждой, иностранной, восточной, новозаветно-еврейской. Такого переворота Индия и Китай не знали. Буддизм даже в Китае ближе к местным традициям (даосским), чем христианство — к преданиям эпохи Ромула и Рема. Идеология Индии и Китая формально плюралистичнее, чем европейская идеология средних веков; они допускают больше вариативности в рамках целого; но в то же время они однороднее по духу, уходят корнями в некое культурное единство. Напротив, культура Европы средних веков жестче, догматичнее организована, но под христианским палимпсестом оставалась не совсем побежденная «языческая» древность, и возможно было ее возрождение. Фрагменты античной культуры могли восстать — и восстали — против мистического мышления отцов Никейского собора. Европейская культура, если достаточно глубоко проанализировать ее, гетерогенна, основана на столкновении двух традиций, непримиренных, анафематствующих друг друга. Разум — блудница для Лютера. Церковь (а по сути и вера) — гадина для Вольтера. Эта гетерогенность, разорванность культурной традиции — существенная особенность Ев-

ропы, быть может, более важная, чем многие другие.*

Духовная гетерогенность Европы — не прирожденная, не племенная (расовая) черта. Можно проследить, как эта черта складывалась.**

Культуры, связанные (и разделенные) морем, сохраняли большую самостоятельность, чем княжества на равнинах Индии и Китая. Только в классическую эпоху Средиземноморье было объединено, очень непрочно. Это различие условий развития имеет важные последствия.

Индия и Китай развивались в рамках единой (при всем богатстве оттенков) культурной традиции не встречавшей достойных соперников (кочевые народы, вторгавшиеся в Китай, через два-три поколения превращались в китайцев. В известной степени, сходное можно сказать и об Индии: завоеватели, после нескольких веков господства, становились новой кастой варны кшатриев, входили в индийскую систему.*** Напротив, для Средиземноморья типично

* Знаковая система, лежащая в основе европейской культуры, строится, по мнению Бема, на законе исключенного третьего. Логика индийской и китайской культуры — иные. Ср. (сноска на книгу выпала в манускрипте. — Р е д.)

** Возможно, даже со времен мезолита. Европейские мезолитические культуры «техничнее» азиатских, больше склонны к отработке деталей, к дифференциации.

*** Это правило нарушили только мусульмане. Но они остались инородным телом и, в конце концов, выделились в особое государство.

столкновение примерно равных культур. История Средиземноморья (а впоследствии Европы) — это история не единой «сверхнации» (этим термином можно, с известными оговорками, обозначить Китай и даже Индию) — но история сообщества наций, борющихся друг с другом за культурную и политическую гегемонию.*

Прежде всего, сталкивались два типа культуры: ближневосточный и западный. Сперва волна идет с Востока на Запад (распространение знаний и военная экспансия Персии). Потом, после битвы на Марафоне, происходит обратное движение: эллинизация и латинизация Востока, до эпохи Августа. После Августа начинается ориентализация, сперва духовная (завоевание империи христианством), потом материальная (военные завоевания арабов и турок).

Новое время — это, помимо всего прочего, новая волна движения с Запада на Восток. А сейчас, по-видимому, наряду с продолжением и углублением европеизации Востока, идет противоположная волна.

* Ср. Ф. Энгельс (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. 20, стр. 643): Разрешение кризиса древнего рабовладения «совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным... До тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевания таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства». Ничего подобного в Китае не было. Все завоеватели подчинялись традиционной китайской общественной структуре.

По крайней мере эстетически Европа с начала XX века испытала ряд серьезных влияний азиатских и африканских культур.* До некоторой степени распространилась и мистическая традиция Индии и Дальнего Востока (йога; дзэн). С середины XX века за этим духовным процессом последовал политический процесс, связанный с деколонизацией и формированием «Третьего мира».

Однако противопоставление Восток-Запад не исчерпывает динамики средиземноморской структуры. Древний Ближний Восток представляет собой целый ряд культур, глубоко своеобразных и не поддающихся переплавке. Только ислам сумел выполнить то, что не удалось ни персам, ни грекам, ни римлянам: придать району некоторую внутреннюю гомогенность. В результате, мир ислама в значительной степени утратил традиционную особенность Средиземноморья — множественность путей развития. Европа ее полностью сохранила. История Европы — продолжение древнего средиземноморского конкурса гегемонов: Персия и Эллада, Афины и Спарта, Карфаген и Рим, христианский мир и мир ислама, Испания и Англия, «атлантический» Запад и восточно-европейский Восток (СССР). В любую эпоху средиземноморско-европейская культура идет несколькими разными путями; если один заводит в тупик, другой — ведет к прогрессу.

Постоянные столкновения культур со своими специфическими фольклорно-религиозными традици-

* Ср. довольно справедливое замечание Л. С. Сенгора, обращенное к европейцам: «Ваша пластика уже смоделировала наши формы, наши ритмы подкрепили вашу музыку».

ями расшатали в Европе эти традиции так, как они не могли быть расшатаны не только в Индии, но и в очень мало религиозном (по истокам культуры), но очень изолированном и поэтому устойчивом Китае. Постулятивно-логическое мышление играет в Европе качественно иную роль, чем на фоне стойких традиций индуизма или конфуцианства. Реформаторский дух в древнем Китае имел ограниченный характер «революции сверху» и быстро исчерпывал себя. В Европе, напротив, Прометей дважды становился народным героем. Первый раз, в древности, он создал интеллектуальные и организационные условия нового времени. Во второй раз, в эпоху Возрождения, — тот дух практического авантюризма, научного и экономического эксперимента, который положил начало современной мировой цивилизации, со всеми ее успехами, кризисами и опасностью катастрофы (второй шаг был возможен, конечно, лишь потому, что информация о первом шаге не была утрачена и «возродилась» в XVI веке).

3. Опираясь на изложенное, попытаемся теперь поставить вопрос: насколько велики различия между субэкуменами (термин, который мы считаем возможным применить к Средиземноморью, Индии и Китаю)?*

* В известном смысле, Индию и Китай можно рассматривать как одну дуальную субэкумену, в которой Индия — «Восток» (*ex oriente lux*), а Китай — «Запад» (*ex occidente lex*: точная хронология, технические знания). Однако слабость контактов между Индией и Китаем делает такой подход, в большинстве случаев, неплодотворным.

Достигают ли они масштаба различий между стадиями развития (античность, средние века, новое время)? Или масштабы и типы различий в пространстве и времени несопоставимы?

Не пытаясь исчерпать этой задачи (допускающей, без сомнения, ряд способов решения), мы пытаемся ниже приспособить к задачам историка один из методов, разработанный лингвистикой, — метод разложения системы на ряд дифференциальных признаков.*

Применительно к текучему и изменчивому материалу истории, метод дифференциальных признаков приходится модифицировать. Мы не стремимся к законченному описанию системы, годному для всех случаев. Признаки описываются нами в такой форме, которая позволяет поставить в графе «новое время» знак «+» (это объясняется спецификой поставленного в данной статье вопроса).

Знаком + в таблице передается сильная тенденция, + — умеренная, — слабая. Слово «тенденция» в описании не повторяется, но все упоминаемые категории мыслятся исторически, как тенденции. Точность знака, разумеется, условна: в некоторых случаях можно спорить, правильно ли выбран знак, в других — соизмеримы ли явления разных исторических систем, поставленных в таблице на одну доску (например, народные восстания в Китае и ре-

* Этот метод, разработанный в лингвистике, уже не раз применялся для анализа социальных явлений. Ср. работы М. Пятигорского, А. Я. Сырхина, В. Н. Топорова и др. в сборниках трудов по семиотике, № 1 и № 2.

волюция нового времени.* Возможно, смысл некоторых знаков мог бы быть выражен численно или как-либо иначе уточнен и верифицирован, но верифицировать систему **сверху донизу** представляется немыслимым. Многие единицы, которыми оперирует историк, принципиально не допускают верификации. Оценить их можно только субъективно.** Однако известное уточнение, как нам кажется, налицо уже в связи с переходом от двузначной логики к трехзначной, исключаящей, по крайней мере, неплодотворные постановки вопросов (например: был

* Любая схема не обходится без подобных натяжек. Старые натяжки лучше новых только тем, что стали привычными и поэтому не колют глаза. Сравнение, например, «восточный» и даже «кочевой» феодализм, «раннерабовладельческое общество» (из которого так и не родилось позднее) и т. п. Всякая всемирно-историческая схема представляет собой известное насилие над фактами. Это не страшно, если не смешивать схему с реальностью и рассматривать схему только как подступ к конкретным исследованиям.

** В Н. Топоров предложил автору этих строк уточняющий прием: провести анкету среди специалистов, ограничив таким образом степень неточности индивидуальной интуиции. Это было бы введением в историографию некоторых методов социологии; возможно, после обсуждения статьи некоторые историки захотят участвовать в подобной анкете и она будет проведена. Интересные попытки квантифицировать степень дифференциации общества можно найти у Е. Riggs'a в его «Теории призматического общества».

ли древний Китай рабовладельческим обществом? или не был? Подобный вопрос мы заменили бы другим: сильна ли была в древнем Китае тенденция к развитию рабовладения?)

В следующей ниже таблице сопоставляются на равных правах две стадии развития Европы и две азиатские субэкумены.

Европа			Докапиталистические		Дифференциальные признаки
Новое время	Средн. века		Китай	Индия	
+	+	—	+	—	Социальная мобильность (в пределе: система экзаменов)
+	+	—	+	—	Роль народных восстаний (в пределе: победа)
+	+	—	+	—	Светскость культуры (история вместо мифологии)
+	+	—	+	—	Светскость элиты (чиновник или делец значат больше жреца)
+	—		+	—	Система управления, основанная на учреждениях и территориях (а не на личных связях)
+	—		+	— +	Централизованное государство

Таблица показывает, что по многим существенным признакам Индия и Китай дальше друг от друга, чем от средневековой Европы, или чем средневековые от нового времени.

По некоторым отдельным признакам Европа в любые эпохи противостоит другим субэкуменам. Однако это же можно сказать об Индии или о Китае. Можно говорить об особенностях Европы, но нельзя говорить об особенностях Азии. Все особенности «Азии в целом» оказываются чисто негативными. Например, в Азии не было политической демократии древности. Архаические учреждения демократического типа, характерные для примитивных обществ, при переходе к цивилизации здесь погибли.

В связи с этим в Азии нигде не возник идеал политической свободы, оказавшей такое большое влияние на всю историю Европы. Не было борьбы за политическую свободу (хотя была борьба за независимость, за справедливость, за гуманность и т. п.). Не было и многого другого, например, европейского культа дамы, который (в секуляризованной форме) заставлял короля-солнце снимать шляпу перед горничной (ни один азиатский монарх, конечно, не стал бы этого делать). Все это, однако, не является характеристикой Азии. Список того, чем объект не был, можно продолжать до бесконечности.

Каждая субэкумена обладает своими особенностями. В Индии, например, развитие обошлось без разрушения архаики. И система учреждений, и знаковые системы, составляющие культуру, изменились путем интерпретации архаических единиц, путем придания архаическим знакам (к социально-политическим учреждениям) новых, дополнительных значений. В политической области сохраняется свя-

щенное королевство, с резким делением общества на харизматическую, сакральную сферу (раджа и его родственники) и профанический, неосвященный народ. Государственный аппарат основан на личных связях, на родстве (если раджа поручает какое-либо ведомство не родственнику, то берет дочь или племянницу его в свой гарем; кумовство, таким образом, является нормой, а не нарушением нормы).*

Верность государству имеет характер верности государю и часто не переживает его. Престолонаследие не урегулировано никаким законом: кто из сыновей раджи успеет захватить магические символы власти, тот и наследник. При такой неустойчивой политике, общество чрезвычайно устойчиво, ибо в основе его остается почти неразложимая единица, выросшая из племени — каста. Можно сказать, что Индия (в отличие от других субэкумен) не пережила процесса детрибализации. Система каст, зафиксировавшая разделение духовной, политической и экономической сфер и разделение труда в сфере экономики, выросла, по-видимому, из системы условий арьев и системы доминирования племен (в духе Спарты или Руанды-Урунди). Но как бы она ни возникла, ей удалось перенести устойчивость кровно-родственных связей, освященных религией, в условия высокоразвитой цивилизации. Система каст обеспечивает нормальное функционирование

* Поэтому гарем в 1000 человек не был редкостью. Гарем властителей Ангкор-Вата (в индианизированной Камбодже) достигал двух-трех тысяч человек. Это было живое штатное расписание. См. Л. Седов. Камни Ангкора «Азия и Африка сегодня», М., 1966, № 5, стр. 44-46.

социальной структуры даже при полной политической анархии. Иностранцы завоевания способны поколебать ее только через обращение индуистов в новую веру. А это — как показал опыт — очень трудно, так как символы индуизма достигли высокого совершенства и способны удовлетворить любые религиозные потребности. Массовый прозелитизм, как правило, ограничивался неприкасаемыми, стоящими вне каст; кастовые индусы в подавляющем большинстве оставались индусами, и вместе с религией сохранялась вся социальная система. Таким образом, религия играет в Индии необычную роль, не только дополняя, но прямо заменяя систему политических учреждений. В микромасштабах нечто подобное можно проследить в жизни некоторых этно-религиозных меньшинств, веками лишенных собственной государственности (у евреев, например). На Ближнем Востоке сходная система сохранилась в Ливане.

Решительно ничего подобного нет в Китае. Религия играет здесь меньшую роль, чем в Европе (не говоря об Индии). Система политических учреждений, напротив, доведена до совершенства, которого и Европа не знала (до XVII-XVIII вв.). И если развитие Индии может быть названо и псевдоконсервативным (в том смысле, что действительный консерватизм ее не следует переоценивать, касты не совсем неподвижны и за старыми вывесками прослеживаются новые явления), то развитие Китая можно назвать псевдореволюционным. Дважды (в эпоху Цинь Ши-хуанди и в нынешний период) можно говорить о действительно радикальных сдвигах, о переустройстве общества. Но традиционные народные восстания и смены династий в имперском

Китае (со II века до н. э. по XX век) никакого революционного переустройства не означали.

Основы политических учреждений традиционного Китая были заложены чиновниками из «Школы государственных законов» в эпоху Цинь. Но логически доведенная до конца система Цинь оказалась совершенно невыносимой. В результате, «Школа государственных законов» подверглась моральному ostracismu и сторонникам Школы в эпоху Хань запрещен был доступ к государственным должностям. Реабилитированные конфуцианцы провели закон, запрещающий сыну доносить на отца: таким образом, Антигона — по крайней мере, в юридической теории — вознесена была над Креонтом. Однако система законов, установленных в эпоху Цинь, в целом была сохранена, так же как и практика слежки чиновников друг за другом, доносов и т. п. Установилось своеобразное равновесие, своеобразный компромисс консервативного гуманизма с политическими учреждениями, обладавшими своей собственной логикой, — логикой административного восторга, веры во всемогущество приказа, самодурства и жестокости. Конфликт то тлел в душе чиновника, раздираемой противоположными импульсами, то прорывался наружу в борьбе придворных партий и в народных восстаниях.

Индийцы не ждали от политической системы гармонии и справедливости и поэтому не восстали против своих правителей. Недовольные искали духовного освобождения. Напротив, китайцы ждали от каждого нового императора, что он будет править,

как легендарные императоры древности. И так как легенда не становилась действительностью, всегда находились люди, готовые поднять «кулак» во имя гармонии и справедливости (самоназвание «боксеров», и-хэ-цюаней). Победив, восстание учреждало новую династию. Это не было разрушением системы. Напротив, восстанавливалось необходимое равновесие гуманистической идеологии и деспотической практики, нарушенное эксцессами деспотизма; приостанавливался упадок нравов, от которого погибла Римская империя; смягчились крайности эксплуатации, грозившие совершенно разрушить производство. И старая игра начиналась сызнова.

Поэтому Мэн-цзы [второй, после самого Конфуция (Кун-цзы), авторитет конфуцианской школы] признавал право народа на восстание. Это не было якобинством; напротив, это было частным моментом консервативной в целом системы. Угроза восстания была необходимой составной частью конфуцианской государственной мудрости. Она позволяла шэньши (ученым чиновникам) почтительно одергивать императоров, быстро дичавших от абсолютной власти,* и удерживать деспотизм в известных рамках. Технически это делалось со ссылкой на небесные знамения, свидетельствовавшие о недовольстве неба поведением сына неба. Подсчеты современных астрономов показали, что при сносных императорах цензоры смотрели на небо сквозь пальцы, а при импе-

* «Всякая власть развращает: абсолютная власть развращает абсолютно» (лорд Эктон).

раторах несносных интерпретировали любую падающую звезду как зловещую комету.*

Компромисс системы политических учреждений со знаковой системой (идеологией) традиционного Китая дополнялся компромиссом идеологий. Конфуцианство не было монопольным путем к истине. Называя шэньши конфуцианцами, мы несколько упрощаем положение. Существовали три уважаемых учения — конфуцианство, даосизм и буддизм. Практически, все чиновники, находясь на действительной государственной службе, руководствовались конфуцианскими правилами поведения,** но в отставке и в домашней жизни они могли быть даосами или буддистами. Философско-религиозная свобода была безопасной, потому что единство Китая обеспечивалось политическими учреждениями и — в сфере культуры — иероглифической письменностью, выполнявшей по крайней мере две функции: 1) социального интегратора, нивелируя различия между различными этническими группами; 2) со-

* Императоры не всегда принимали почтительные упреки цензоров благосклонно. В эпоху Цинь была даже сделана попытка совершенно отстранить высокообразованное конфуцианское чиновничество от власти, заменив его опричиной из полуобразованных дворцовых евнухов. На почтительные упреки ученых (группировавшихся в частных академиях) императоры отвечали казнями. Число кастрированных опричников достигло 70 000. Однако дело кончилось падением династии.

** И некоторыми традициями «Школы государственных законов», молчаливо признанными средневековым конфуцианством.

циального стратификатора, отделяя ученую элиту от неученого народа.

Как видим, каждая субэкумена, переходя от архаической стадии к более высоким уровням цивилизации, сохраняет некоторые архаические черты и теряет другие, формирует свою особую культуру. Нет единого Востока. Есть разные субэкумены: Индия, Китай. Есть чрезвычайно самобытные маргинальные [переходные, промежуточные] культуры (Тибет, Япония). Есть проблема мусульманского Востока, который в социально-политическом плане может рассматриваться как субэкумена, а в духовном — скорее как маргинальная культура, — Восток для Европы и Запад для Индии. Сравнение исторически реальных коллективов плодотворно, сравнение Запада (Европы) с исторически никогда не единым Востоком неизбежно сводится к банальностям.

3 а. По ряду отдельных признаков традиционный Китай ближе к Европе нового времени, чем средневековая Европа. Это неоднократно подчеркивал Нидхем. Однако переход к новому времени в Китае был чрезвычайно затруднен, и даже прямые экономические, политические и культурные контакты с буржуазной Европой, Америкой и вестернизированной («озападничавшейся») Японией не дали прямого эффекта, а лишь создали особую, чисто китайскую ситуацию, вызвали к жизни чисто китайское состояние общества, о котором, по-видимому, еще рано судить. Парадокс объясняется тем, что сумма частных социальной структуры не объясняет поведения целого, в особенности — трансформации целого.

Говоря более точно, мы подходим к вопросу о различии функционального и трансформационного существования системы.* Функционально (как сложившаяся модель) традиционный Китай модернистичнее, чем средневековая Европа. Трансформационно (как развивающаяся система) он стоит почти на нуле. Всякий признак, который в Европе может рассматриваться как прогрессивный, в Китае не ведет ни к каким преобразованиям, действует в рамках строго стабилизированной структуры. Например, социальная мобильность, система экзаменов при замещении государственных должностей, в Европе вела бы к вытеснению дворянства буржуазией. В Китае общество делится на другие слои, и система экзаменов пополняет талантливыми выходцами из неслужилых слоев конфуцианское чиновничество, твердо стоящее на страже традиций.

В Европе государство, как система учреждений, а не лиц, было требованием буржуазии и вело к господству буржуазии. В Китае это вело к увековечиванию власти традиционного правящего слоя, выросшего в государственный аппарат. В Европе светскость вела к разрушению власти традиций, к росту свободомыслия. В Китае сама традиция была сформулирована в достаточно светских формах. Единая национальная культура, складываясь в новое время, была носителем дипломатического духа нового времени. Единая иероглифическая культура, сложившись до нашей эры, была носителем духа ар-

* Ср. М. А. Барг «Структурный анализ в историческом исследовании», «Вопросы философии», М., 1964, № 10, стр. 83-92.

хаического сообщества, основанного на незыблемых традициях. Не было никаких сил, способных гибче реагировать на изменение условий, чем традиционные монополисты культуры — ученые чиновники. Были многочисленные тайные общества, легко ставшие центром очередного восстания (в Китае все неофициальное имело тенденцию превратиться в тайное, даже корпорация торговцев солью). Но культура оставалась незыблемой (в подполье, тайно ее нельзя изменить). И после политических потрясений все становилось на старые места.

Интересно отметить, что «синизированные» культуры Дальнего Востока легче вступили на путь модернизации, чем собственно Китай. То же можно сказать о китайцах вне Китая: по всей Юго-Восточной Азии они выступали как агенты буржуазного развития. Наконец, зона китайской культуры в целом (то есть и синизированные страны, и Китай) модернизируется успешнее, чем зона индийской культуры (Индия и «индианизированные» страны)*; не только КНР, но и Тайвань обгоняют Индию по темпам экономического развития. Это можно объяснить следующим образом:

Система традиционного Китая в целом архаична, но построена из сравнительно светских, рациональных учреждений и знакомых структур. Перенесенные в новый контекст — например, в Японию (или даже в Корею, Вьетнам) — элементы китайской общественной структуры вступают в новые отношения, и в некоторых случаях, при некоторых усло-

* В оригинале сноска выпала.

виях обнаруживают трансформационные качества, которых не имели на родине.*

В общем, сословные цивилизации средних веков (в Европе и Японии) оказались лучшей средой для первого шага к бессловному обществу нового времени, чем бессловное общество в Китае (не говоря о кастовом строе в Индии).

1965

* В традиционном Китае «Школа государственных законов» («Школа фа»), а затем Ван Ман проводили революционные преобразования — но лишь после того, как стали авторитетом, государственной властью. Свободная самостоятельность меньшинства, независимо от государства, в традиционной китайской структуре является немыслимым событием. Напротив, вне Китая китайцы становятся меньшинством, и именно предприимчивым меньшинством, чем-то вроде протестантов или евреев. Подтверждение этого — неоднократные китайские погромы.

ПРОЕКТ ПИСЬМА XXIII СЪЕЗДУ

Проект директив, выдвинутых на обсуждение съезда, показывает, что нынешняя экономическая структура нуждается в коренных реформах, и необходимость этих реформ осознана. Дело теперь за тем, чтобы реформы проводились на уровне современной науки, продуманно, комплексно, с учетом последствий, которые некоторые мероприятия, принятые в одной области, вызывают в других областях, — без канцелярской спешки и бестолочи пятидесятих годов.

Отдельные сферы общества не являются изолированными агрегатами, каждый из которых можно ремонтировать по-одиночке. Общество — система, в которой все взаимосвязано, и ключ к решению конкретной экономической проблемы может лежать в области права, правовой — в экономике и т. д. Поэтому предпосылкой успешных реформ является соблюдение центра, исследующего цепи общественных взаимодействий, комплексного социологического центра.

Такой теоретический центр не может совпадать с центром административным, непосредственно проводящим реформы. Даже очень талантливый администратор, захваченный текущими делами, не в состоянии взглянуть на процесс общественных сдвигов со стороны, охватить его единым взглядом, заметить недостатки и пороки своих собственных ре-

Был послан в сильно переделанном виде.

шений. Сами таланты администратора и теоретика довольно редко совпадают.

Правда, с помощью беспримерного террора Сталина удалось доказать, что весь ход общественно-политической мысли совершается в одной голове — его собственной. Лишние теоретики (т. е. все остальные) были истреблены. Задачей теории стала апологетика, пропаганда уже принятых решений. Уровень «Вопросов философии» снизился до уровня «Блокнота агитатора». Это торжество администратора над теоретиками оказалось, однако, пирровой победой. Советская общественная система в значительной мере утратила то, что кибернетика называет обратной связью. Решение, принятое «сверху», расхваливалось всеми органами печати совершенно независимо от того, было оно удачным или ложным; ошибки, которые можно было сравнительно легко исправить по свежим следам, консервировались на десятилетия. В итоге — тяжелые, трудноизлечимые социальные сдвиги, с последствиями которых мы еще долго вынуждены будем бороться.

Мы побеждали на войне, — но лишь потому, что немцы поправляли ошибки Сталина, разбив полководцев, которых он назначил, и опорочив тактику, которую он избрал, — восстановив таким образом обратную связь и подтолкнув вперед развитие нашей военной науки и организации. В мирных условиях такой очевидной проверки ложности решения, как проигранная битва, нет. Выявить ошибку может только научная дискуссия. А научные дискуссии до сих пор связаны «установками». Если установки нет, тема становится запретной. (Например, известное время под запрет попало слово «Китай».

И до сих пор анализ положения в КНР ограничен бесчисленными табу.)

Наше развитие сковывает гипертрофия охранительной функции. Ни одно общество не обходится без каких-то мер поддержания общественной дисциплины. В речах о необходимости единства, организованности и т. п. всегда есть известный смысл. Но избыток дисциплины опасен. Он парализует мозг системы. И в быстро меняющейся обстановке наша страна в некоторых случаях ведет себя как динозавр — животное с большим и сильным телом, но неповоротливым мозгом.

Господство шаблонов делает нашу науку беспомощной в анализе современного положения, а нашу пропаганду вынуждает занять позиции непротивления злу насилеи, когда противник оказывается не с той стороны, с которой ему, согласно шаблону, следует быть. Неумение или нежелание видеть грозную опасность, выросшую на Востоке, достигает масштабов слепоты мюнхенских политиков, упорно твердивших, даже в 1940 году, что главный враг западных держав — Советский Союз. Точно так же многие наши товарищи находят сильные слова только против ФРГ и США, не учитывая, что конфликты между вариантами одной и той же формации могут быть острее, чем конфликты между странами совершенно разных систем. Эти люди не в состоянии ответить по достоинству антисоветской китайской пропаганде. Они по сути капитулируют перед ней и повторяют китайские тезисы — потому что последовательная борьба с китайскими шаблонами, невозможна без борьбы со сталинскими шаблонами, без продолжения идейной и организационной десталинизации, без развития и углубления реше-

ний XX и XXII съездов, нарушивших привычные шаблоны, заставивших думать и искать новые.

Опыт показал, что величайшую опасность представляет не тот или другой сложившийся путь социального развития, а волюнтаристское беспутье, авантюристические скачки в пропасть. Такие скачки возможны не только на почве капитализма (фашизм), но и в первые десятилетия после его свержения (сталинизм, современные китайские безумства).

Было бы лучше, если бы этого не было, но это так, и из этого факта приходится исходить. Самая страшная опасность в XX веке — ультра-любого цвета антигуманистическое волюнтаристское течение, вооруженное термоядерным оружием. Против него все обязаны объединяться. Ленин писал в «Философских тетрадах»: «Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм». Это относится не только к философии, но и к политике. Легче договориться о поддержании мира с умным миллиардером Итэном, чем с глупым и чванлым китайским руководителем. Только шаблонные представления мешают упрочить мир.

Так же обстоит и с другими проблемами, международными и внутренними. Они все разрешимы — если устранить идеологические шаблоны, открыть дорогу свободной научной дискуссии. Однако ограниченность кругозора заставляет некоторых руководителей рассматривать беспокойство интеллигенции, вызванное нерешенными задачами общественной жизни, в терминах борьбы за власть, как подрывную деятельность, а выступления, в которых высказывается точка зрения научно-творческой интеллигенции — как «идеологические диверсии» (так,

например, было расценено выступление по телевидению нескольких ученых и писателей, выразивших тревогу о судьбе русского языка и русской культуры). Это чрезвычайно пагубные заблуждения. Ученый, писатель, режиссер и т. п. вовсе не хочет оставить свой кабинет или свой театр и заняться административной деятельностью. Но он сознает, что может внести свой вклад в обсуждение проблем, стоящих перед страной, и хочет внести этот вклад, а не только популяризовать уже принятые решения. Тут не прихоть, не каприз интеллигенции, а общегосударственная необходимость. Это нужно всей стране, и прежде всего — руководству. Ибо свободное обсуждение общественных проблем, не предвещающее конкретных политических решений, позволит решать со знанием дела и быстро исправлять ошибки. Таким образом восстановлена будет обратная связь между политическим аппаратом и жизнью.

Развитие общественных наук и литературы так же не может быть привязано к политическим решениям, как точные науки — к технике и производству. Чтобы оплодотворять технику, точные науки должны развиваться по своей собственной логике; и, чтобы заново оплодотворить политику, общественные науки и литература должны восстановить свою свободу. Интеллигенция должна быть освобождена от опеки. В области теории правительство должно предоставить первое слово своим теоретикам.

Научно-творческая интеллигенция (вопреки тому, что о ней думают и говорят охранители), стремится не к анархии, а к законности и деловому порядку. Она хочет не разрушить существующую систему, а сделать ее гибче, разумнее, гуманнее. Она хочет организованного, вошедшего в быт *диалога* с

руководством, сотрудничества в планировании и осуществлении реформ. Без подобного диалога невозможно дальнейшее развитие нашей страны.

Реформы, предстоящие нам, гораздо сложнее и значительнее, чем те, через которые прошла Россия сто лет назад. Сейчас речь идет о движении по нигде еще не пройденному пути — к самоуправлению производителей. Но даже Александр II привлек к подготовке реформ все наличные интеллектуальные силы, не передоверил работу канцеляриям. И было бы нелепо пытаться вступить в эпоху нынешних реформ, не развязав руки интеллигенции, не развязав всех возможностей общественных наук.

Движение идей в области общественных наук не должно контролироваться больше, чем движение математических или физических идей. *Научные журналы и публикации необходимо освободить от всякой цензуры. Установки могут существовать для пропаганды, для газет — но не для науки.*

Целесообразно создать несколько новых учреждений, призванных облегчить циркуляцию научных идей и подготовку реформ:

а) институты теоретической социологии, прикладной социологии, социальной психологии, социометрики;

б) теоретический совет (с открытыми для всех заседаниями) для планирования и анализа комплексных междисциплинарных исследований.

Хочется еще раз подчеркнуть, что речь идет не о той или иной частной реформе, а об организации работы, необходимой надолго и всерьез, на десятки лет. Прогрессивное решение поставленной историей задачи будет одновременно выходом из сегодняш-

них трудностей и шагом к нашей великой цели — «ассоциации, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (К. Маркс и Ф. Энгельс).

Демократизация научной и общественной жизни, полная свобода мысли — одновременно цель нашего движения и путь к этой цели. Стоит вспомнить в этой связи один старый документ — письмо Ф. Энгельса А. Бебелю от 19 ноября 1892 года:

«Быть зависимым, даже от рабочей партии, — тяжкий жребий. Но и отвлекаясь от денежной стороны дела, быть редактором газеты, принадлежащей партии, — неблагодарный пост для каждого, кто обладает инициативой. Маркс и я всегда были согласны в том, что *никогда* не займем такого поста, а сможем только издавать газету, независимую в денежном отношении даже от партии.

Ваше «огосударствление» печати может иметь большие недостатки, если зайдет слишком далеко. Вам, безусловно, необходимо иметь в партии прессу, независимую *непосредственно* от правления и даже от партийного съезда, то есть прессу, имеющую возможность *в рамках* программы и принятой тактики свободно выступать против тех или иных шагов, предпринятых партией, а также, не преступая границ партийной этики, подвергать свободной критике программу и тактику. Такую прессу вы как Правление должны поощрять и даже создавать, тогда вы будете иметь на нее большее моральное влияние, чем если она возникнет наполовину *вопреки* вашей воле. Партия перерастает рамки существовавшей до сих пор жесткой дисциплины; при двух-трех миллионах членов и постоянном притоке «образованных» элементов требуется большая сво-

бода действий, чем та, которая предоставлялась до сих пор и была не только достаточна, но приносила даже пользу тем, что ставила известные границы. Чем скорее вы приспособитесь сами и приспособите партию к этому изменившемуся положению, тем лучше. И первое, что требуется, это *формально* независимая партийная пресса. Появится-то она непременно, но будет лучше, если вы вызовете ее к жизни при таких обстоятельствах, чтобы она с самого начала находилась под вашим моральным влиянием, а не возникла наперекор вам и против вас».*

* Соч. т. 38, стр. 441-442.

РАЗМЫШЛЯЮ О ЦИНЬСКОМ ОГНЕ*

То, что происходит в Китае, вряд ли можно свести к дурному характеру или ошибкам нескольких лиц. Не помогают и ссылки на «мелкобуржуазную» стихию. Категория, с помощью которой объясняются все неожиданные и неприятные события, где и когда бы они ни случились, теряет всякую определенность. Даже если говорить конкретнее, о крестьянстве, бросается в глаза, что индийские крестьяне ведут себя не так, как китайские; индонезийские — не так, как цейлонские — и т. п. Наконец, те же китайские крестьяне (и китайские кадры) по-разному вели себя до 1956 и после 1956 года. Видимо, одной фразой, одним определением здесь невозможно отделаться. Нужен анализ самых различных сторон процесса.

Не претендуя на исчерпывающее решение задачи, хочется, по крайней мере, вытянуть из китайского клубка несколько ниток и распрямить их в непротиворечивые модели. Дальнейшая дискуссия, разумеется, углубит и расширит предварительные заметки, — а кое в чем, вероятно, исправит их.

Ниже будут рассмотрены четыре аспекта китайских событий:

1. Психология и логика массовой шовинистической истерики.

* «Циньский огонь» — традиционное китайское обозначение событий III в. до н. э. (сожжение книг и закапывание живыми в землю книжников).

2. Превращение марксизма из открытой научной системы в закрытую догматическую систему.
3. Нарастающее отчуждение интеллигенции.
4. Живучесть традиционных факторов китайской истории.

1. Слаборазвитые страны, достигнув независимости, попали в трудное положение. Чтобы резко повысить уровень жизни, нужны капиталовложения и знания — know-how, как принято говорить. Знания и навыки накапливаются медленно, а аппетиты растут быстро. Изоляция традиционных культур — дело прошлое. Кино, радио, газеты рассказывают о сладкой жизни северных стран, и жителям Юга тоже хочется сладкой жизни. Им нелегко понять, с каким напряжением швед или голландец работает головой свои 6-8 часов в день (и даже поняв — невозможно одним рывком подняться на другой уровень цивилизации), а то, что швед заводит собственный двухэтажный коттедж, сразу понятно, и не только понятно — обидно; от информации о чужом богатстве собственная жизнь становится горше, чем в прошлом, когда отцы и деды просто не знали употребления таких вещей, как авторучки и автомобили, и не стремились к ним. С этим можно было бы примириться, если бы уровень жизни быстро повышался, но происходит нечто обратное. Развитые страны двигаются дальше, вперед, наращивая богатство по 6-8-10% в год, с «развивающиеся» топчутся на месте, и разрыв между США и Китаем, или Индонезией, или Сирией не уменьшается, а растет. Иностранная помощь едва покрывает убытки от неэквивалентного обмена. Демогра-

фический взрыв (вызванный вторжением европейской медицины) съедает все результаты экономических усилий: темп роста населения обгоняет темп роста продукции, особенно сельскохозяйственной (построить металлургический гигант или плотину, с помощью иностранных инженеров и техников, сравнительно просто; изменить структуру сельского хозяйства — гораздо труднее).

В итоге, приходится все туже затягивать пояс. Два миллиарда людей обречены историей на пожизненную нищету, труд в поте лица своего и почти без вознаграждения, в то время как счастливые северяне (за которых страдали отцы и деды) проводят уикэнд на взморье в собственной автомашине с туристическим прицепом. Лидеры, пришедшие к власти под лозунгом борьбы с колониализмом, должны просить займы у своих бывших хозяев и уговаривать земляков (ожидающих от них чуда) трудиться и терпеть. А впереди — впереди неутешительная перспектива большого голода семидесятых годов, грозящего охватить полмира. Вторая по величине страна Азии — Индия — уже сейчас не в состоянии себя прокормить...

В этих условиях легко возникают стихийные массовые истерики, погромные движения, направленные против хауса или ибo, тамилы или мусульман, китайских торговцев в Индонезии или иностранцев — в Китае. И легко добиваются популярности политики, которые сознательно играют на чувствах масс, потерявших равновесие, разжигают националистическую истерику, подкармливают народ ненавистью вместо риса (благо ненависть деше-

ва — только расходы на типографскую краску — а рис дорог).*

В какой-то мере этим занимаются даже трезвые, здравомыслящие националисты, понимающие, что основная задача, стоящая перед ними — строительная, а не разрушительная. Они дозируют шовинистическую демагогию с осторожностью, в качестве опиума для пустых желудков, не доводя дела до погромов и внешнеполитических осложнений. Но сохранить чувство меры трудно, особенно лидеру, опьяненному фимиамом, привыкшему к лести и поклонению. Так, например, в политике Сукарно главное и второстепенное поменялись местами. Экономика разваливалась, государственный аппарат чудовищно разбух, а в политической жизни на первое место выдвигался вопрос о Западном Ириане. Как только голландцы уступили, — срочно был создан новый объект ненависти: началась кампания «сокрушить Малайзию». Погромы книжных магазинов, осада иностранных посольств, засылка «партизан» на территорию соседней страны — все это взвинчивало и накручивало толпу, во главе которой, к сожалению, можно было увидеть отряды коммуни-

* При этом шовинистическая демагогия обычно переплетается с какими-то религиозными призывами или социалистическими лозунгами, более или менее значимыми в конкретных местных условиях. Следует учесть, что в слаборазвитых странах классовые различия часто совпадают с этническими и национальными, и существует объективная иллюзия возможности вырваться из социальных противоречий, уничтожив того или другого «козла отпущения».

стической молодежи Индонезии. Наконец, провокация Унтунга («движение 30 сентября»), поддержанная рядом коммунистов, изменила направление ветра; и кадры, разжигавшие истерику, стали ее жертвами.

То, что произошло в Китае, можно описать как переход от модели поведения рассудительного национализма — к модели безрассудного национализма (в духе некоторых баасистов и Сукарно). Объекты истерики другие, фразы другие, но сущность движения хунвейбинов и «движения 30 сентября» можно рассматривать как одну и ту же. Это погром, а не революция. Только в Индонезии погром-путч был плохо организован, а в Китае организация — по крайней мере вначале — была лучше. Но и в Европе оставались различия между хорошо организованными факельными шествиями в Берлине и плохо организованными факельными шествиями в Риме, без решающей разницы в оценке этих событий.

Подводя итоги зигзагам, начертанным псевдореволюционными агрессивными движениями прошлого поколения, можно построить модель «погромной ситуации», работавшую и в Азии: 1) массы выбиты из привычных условий жизни, оторваны от традиций, растеряны, охвачены страхом и отчаянием; 2) образование создало тип полуинтеллигента, *специалиста*, достаточно просвещенного, чтобы отбросить нравственные табу, и недостаточно просвещенного, чтобы понять дух нравственности, достаточно квалифицированного, чтобы организовать движение, привести его к победе и на какое-то время удержать власть, но недостаточно развитого, чтобы увидеть действительный выход из современных

противоречий и поэтому бросающегося к ложному выходу — к агрессии. Этот тип полон зависти и злобы к подлинной интеллигенции, которая слишком много знает; к иностранцам (а того паче — к инородцам), которые слишком много себе позволяют, и к богатым, которые действительно слишком много имеют.* Он близок к массам, он живет массовым страхом и массовой ненавистью и легко становится вождем масс. «Маленький человек», которым все помыкали, находит в нем своего потерянного бога, творит из него кумир — и рушится вслед за ним в бездну бессмысленной агрессивной войны.

Специфика стран Азии (в рамках изложенной модели) сводится только к их экономической (а следовательно и военной) слабости. У азиатских демагогов нет сил для агрессии гитлеровского масштаба. Каковы бы ни были планы китайских руководителей, здравый смысл заставлял их строить экономику, а не воевать. Мао Цзэ-дун, утратив здравый смысл, быть может просто выболтал тайну, которую другие предпочитали хранить.

В стране, население которой скоро достигнет миллиарда человек, гораздо проще создать военную промышленность, чем высокий уровень жизни. И кажется более простым силой вырвать то, что очень

* Любопытно, что плутократам, в ходе псевдореволюционных массовых движений, обычно удается отделаться взяткой. Это справедливо и для КНР: в течение десяти лет здесь истребляют интеллигенцию, в течение года — партийные кадры, но до сих пор щадят буржуа, готовых сотрудничать с режимом.

медленно дается в результате роста международного сотрудничества.

2. Каким образом погромное агрессивное движение могло возникнуть в стране, принявшей на вооружение теорию Маркса и Ленина? Каким образом марксисты могли превратиться в хунвейбинов? В самом ли деле они были марксистами? Что это значит, быть марксистом? Достаточно ли для этого признавать себя марксистом и повторять марксистские лозунги?

Церковь признает христианами тех, кто крещен, ходит в церковь и молится Богу. Но вряд ли можно признать марксистами тех, кто вступил в соответствующую организацию и ходит на собрания. Христианство — религия, к которой можно приобщиться, совершив чисто символические действия; предполагается, что при этом Дух Святой нисходит на крещеного и заменяет понимание Евангелия. Марксизм — наука и Святой Дух не приобщает к «Тезисам о Фейербахе». Надо их прочесть и понять. А понять Маркса — не так просто. Даже в Европе распространение марксистских идей связано было с известной вульгаризацией их.

Вульгаризация возмущала Маркса. Прочитав изложение марксизма, принадлежащее перу Лафарга, он воскликнул: «Если это марксизм, я не марксист!» Дело было не в каких-либо грубых ошибках. Лафарг, зять Маркса, хорошо знавший его сочинения, не делал грубых ошибок. Но в популярном изложении неизбежно выдвигалось на первый план не самое важное, а самое понятное. Самое понятное часто оказывается банальностью, которая звучала не банально в контексте, в связи с другими мыслями, а

вне контекста, как тезис, как афоризм, превращается в пародию на мысль автора. Стоило ли писать «Капитал», если суть марксизма можно высказать в нескольких фразах: «прежде всего надо есть, пить и одеваться»; «мир надо переделать»; «религия — опиум»? Можно ли считать марксистом человека, усвоившего, что «идеализм — дорога к поповщине» (Ленин), и не усвоившего, что «умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм»? Я думаю, что материалист, не понявший второй мысли, вполне может быть назван глупым материалистом.* А «услужливый дурак опаснее врага».

В популярном изложении марксизм из открытой научной системы легко превращается в закрытую догматическую систему, из совокупности научных проблем — в совокупность готовых решений. Выписав ответы, к которым пришел Маркс, мы не передаем структуру его мысли. Маркс все время искал новых, лучших формулировок, отбрасывал старые концепции и создавал новые. Например, в черновиках письма к В. Засулич он дает совершенно новую концепцию докапиталистических формаций, ставя рабовладение и феодализм рядом, на одну ступень (а не друг за другом, как случайно было в Европе, но могло бы и не быть).**

Если отбросить эту научную пытливость, эту неутомимую работу мысли — произведения Маркса превращаются в сборник цитат. Можно их все выучить наизусть — и все же не понять Маркса. Ибо

* Ср. Ленин «Философские тетради».

** Ср. Сборник «Общее и особенное» в историческом развитии стран «Востока», М., 1966.

по каждому серьезному вопросу есть несколько высказываний, не совсем совпадающих друг с другом, и возникает проблема иерархии высказываний (в разные годы, в разных контекстах), проблема интерпретации, требующая самостоятельного усилия ума.

Даже для того, чтобы понять интерпретацию, сделанную другим, нужен довольно высокий уровень культуры, большая эрудиция. Стоит вспомнить, в этой связи, высказывания Ленина: «Тот, кто не проштудировал всей «Большой логики» Гегеля, не может понять «Капитала» Маркса»;^{*} «нельзя стать коммунистом, не обогатив свою память знанием всех тех богатств, которые создал человеческий ум» и пр.

Только в современных высокоразвитых странах, в связи с широким распространением умственного труда, складывается класс, которому это по плечу. В прошлом марксизм был допущен только ограниченному кругу интеллигентов, и марксистский характер русского рабочего движения объясняется не свойствами русского пролетариата, а усилиями русской революционной интеллигенции, вносившей в рабочую среду идеи социализма К. Маркса и Ф. Энгельса.

В работе «Что делать?» Ленин пишет об этом с исчерпывающей полнотой. Он цитирует «глубоко справедливые и важные слова К. Каутского»,^{**} что «социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из нее возникшее» и прибавляет: «о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе

^{*} Ленин «Философские тетради».

^{**} В. И. Ленин. Соч. т. 5, стр. 354.

их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи». «Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке. Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов...»* Стихийно же рабочее движение может развиваться и «по линии буржуазного тред-юнионизма», и «по линии поповско-жандармской идеологии».** Образцом движения второго типа Ленин считал зубатовское. Следует вспомнить, что фашистских движений в начале XX века просто не существовало. Когда они появились — рабочие оказались и в них. Слово «рабочая» в названии гитлеровской партии — не чистая демагогия. В 1936 году в ГНСРП (Германской национал-социалистической рабочей партии) пролетарии составляли 32%.

Кто же мог внести социалистическое, марксистское сознание в среду китайских рабочих и крестьян? Китайская интеллигенция? Но в какой мере она была знакома с культурными традициями Европы, из которых марксизм вырос? В какой мере китайские студенты двадцатых-тридцатых годов понимали Маркса?

Рассмотрим это на примере двух терминов: «диктатура» и «коммунизм». Случайно ли Маркс, характеризуя революционную власть, выбрал слово «диктатура»? Почему он не употребил слова «деспотизм»? Какая разница между диктатурой и деспотизмом?

Для человека, знакомого с европейской культурой, это очень простой вопрос. Диктатура — чрезвычайные полномочия, предоставлявшиеся государствен-

* Там же, стр. 355.

** Там же, стр. 356.

ному деятелю республиканского Рима на короткий срок (6 месяцев), в исключительных обстоятельствах, требовавших сосредоточения власти в одних руках. Диктатура — это деспотизм в рамках демократии, в рамках системы республиканских учреждений, деспотизм, ограниченный духом республики.* Этот республиканский дух, республиканские нравы заставляли диктатора, когда полномочия его истекали, вновь становиться рядовым гражданином. Напротив, деспотизм — это самовластие в условиях культуры, признающей самовластие как норму, не знающей другой власти. Термин «деспотизм» обычно употребляется Марксом с прилагательным «азиатский» (традиция, идущая от Монтескье).

Как это все перевести на китайский язык? В рамках китайского исторического опыта «ничем не ограниченное насилие» может быть понято только как деспотизм и никак иначе. Без европеизированного слоя интеллигенции, усвоившего (как это сделала русская интеллигенция) европейские идеалы политической свободы, идея революционной диктатуры неизбежно превращается в идею революционного *деспотизма*, то есть в традиционную для Китая смену династии, неугодной небу, новой династией, угодной небу.

В характеристиках коммунизма, принадлежащих перу Маркса, все время повторяется слово «свобода»: «ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»; «скачок из царства необходимости в царство свободы» — и, наконец, наиболее содержательное определение, из II тома «Капитала»: «Царство свободы начинает-

* Поэтому можно говорить о якобинской диктатуре, о революционной диктатуре в 1917-1922 гг.

ся в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства... По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня — необходимое условие».*

Только в связи со всеми этими мыслями может быть правильно понята формула Сен-Симона: «от каждого по способности, каждому по потребностям». Предварительным условием ее осуществления является огромный скачок производства, превращение умственного труда в основную форму общественно необходимого труда, наконец (на этой основе) — всякий необходимый труд отодвигается на второй план и уступает первое место свободной духовной деятельности, направленной не на решение экономических задач (они в основном решены), а на борьбу с отчуждением, на развитие духовной культуры. И в той мере, в которой духовные потребности становятся решающими, человек действительно может получить по потребностям и дать по своим способностям — в этой сфере духовной деятельности, в сфере свободы».**

Таким образом, коммунизм Маркса — это завершение 2^{1/2}-тысячелетней истории европейского освободительного движения, истории борьбы за идеал

* К. Маркс. Соч., т. 25, ч. 2, стр. 386-387.

** См. посмертно опубликованную статью т. Шенкмана в «Вопросах философии», 1966, № 12.

свободы, выдвинутый древними греками; это дополнение сложившихся идеалов политической и духовной свободы идеалом экономического освобождения, а не отказ от политической и духовной свободы во имя того, чтобы накормить массы, — как учил, в V-IV вв. до н. э., древнекитайский утопист Мо Ди.

К сожалению, объяснить все это китайцу, мало знакомому с европейской культурой, очень трудно. В Китае, по крайней мере с V века до н. э., исчезли остатки примитивной демократии, и никогда не было борьбы за свободу, вдохновившую поэтов, музыкантов, скульпторов, вошедшую в плоть и кровь образованного европейца. Никогда китайский поэт не писал бы — как Пушкин Чаадаеву:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы...

Китайцы не горели свободой. Их вдохновляли многие прекрасные вещи, но не свобода. Были идеалы человечности, долга, гармонии, но идеала свободы не было. Идея свободы выражалась неловким книжным сочетанием идеограмм, вошедшим в живую речь только в XIX-XX вв. и только в верхнем слое общества (который у нас часто смешивался с компрадорской буржуазией).^{*} Деревенские грамотеи, из которых формировались кадры партизанских армий Мао Цзэ-дуна, были маргинальными носителями традиционной конфуцианской образован-

^{*} Это примерно так же верно, как смешение студентов, шедших в авангарде революции 1905 г., с охотнорядцами (поскольку и те, и другие — мелкая буржуазия).

ности, иначе говоря — маргинальными носителями идеологии восточного деспотизма. И коммунизм, который они усвоили, закономерно приобретал характер коммунизма Мо Ди — Ван Мана (I век н.э.). Это был военный, казарменный коммунизм, коммунизм, установленный мудрыми кадрами при послушном, безропотном народе. Нет ничего удивительного, что реформы Мао Цзэ-дуна развивались примерно так же, как реформы Ван Мина: на первых порах, пока речь шла о подготовке позиций для прыжка — в рамках здравого смысла; затем, когда начался собственно прыжок, — это оказалось какой-то аракеевщиной. Деятельность Мао и его коллег в 1949-1956 гг. можно расценивать как прогрессивную, но не более, чем реформы Петра I. Это было прогрессивное самодержавие. Никакой демократии (хотя бы внутрипартийной) и тогда не было (не следует смешивать с демократией коллегиальность).^{*} А следовательно, и социализма никакого не было. «Социализм невозможен без демократии в двух смыслах: 1) нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если он не готовится к ней борьбой за демократию; 2) нельзя победившему социализму удержать своей победы и привести человечество к отмиранию государства без осуществленной полностью демократии».^{**}

^{*} Военный совет, на котором участвует Гринев в «Капитанской дочке», был строго коллегиальным. Петровские министерства назывались коллегиями. Некоторые традиционные китайские учреждения испокон века имели такую же, коллегиальную структуру.

^{**} В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 128.

Деспотизм иногда бывает прогрессивным. Самодержавие, — как шутил В. О. Ключевский, — лучшая форма правления, если не считать случайностей рождения. Но там, где есть самодержавие, всегда возможен и *безумный* самодержец. То, что президент к 70-ым годам заболел паранойей, а у его жены климаксо — довольно банальная вещь, если существует разделение властей и заболевшего деятеля можно отправить в сумасшедший дом. Это становится трагедией, когда воля сумасшедшего — закон, и он превращает в сумасшедший дом всю страну.

3. Говоря о пролетарской революции, пролетарской партии, диктатуре пролетариата и проч., мы часто упускаем из виду ленинское определение марксистского движения* как блока революционной интеллигенции и сознательных пролетариев. Марксизм без интеллигенции — это марксизм без Маркса, без Ленина, то есть сапоги всмятку. Марксистское движение, опирающееся (за недостатком пролетариев) на сознательных крестьян, практически возможно, и мы знаем ряд массовых движений такого типа, победивших за последние годы в слаборазвитых странах Азии и Африки. Но ни одно из этих движений пока не сумело показать убедительный пример строительства социализма. Интеллигентско-крестьянские блоки не только лишены кадров организованного пролетариата; им не хватает также интеллигенции. В очень слабо развитых странах едва набирается несколько десятков интеллигентов, из которых можно сформировать одно правительст-

* В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 354-356.

во и одну оппозиционную группу (состоящую из всех, кому не хватило министерских постов. Ср. борьбу клик в Африке). В таких условиях нечего и мечтать о демократическом общественном мнении, о механизме критики и самокритики. Только интеллигенция, не связанная административными задачами и не претендующая на роль администраторов, интеллигенция, состоящая из лиц творческого умственного труда и имеющая в своем распоряжении действительно свободную социалистическую прессу,* способна создать такой механизм критики и самокритики, вовремя сигнализирующий об ошибках руководства. Характер механизма может быть различным. При Ленине это был механизм внутрипартийной демократии. В некоторых странах Восточной Европы складывается, по-видимому, механизм многопартийной демократии. Это различие не так важно, важнее другое: практическая свобода слова для социалистической интеллигенции, способной критиковать действия руководства со знанием дела.

В Китае такого рода свобода не сложилась. Коммунистическое движение, попав под удары Чан Кайши, вынуждено было отступить из города в деревню. Иначе оно было бы просто раздавлено, и Мао Цзэ-дуна нельзя осуждать за то, что он перешел от классического для марксизма городского движения ко «второму изданию крестьянской войны» (Энгельс). Но уйдя из городов, коммунистическое движение ослабило связи не только с пролетариатом, но и с интеллигенцией. Упадок интеллигентности превратил коммунистическую партию в своего рода ямынь при победоносном крестьянском вожде

* Ср. Ф. Энгельс. Соч. т. 38, стр. 441-442.

Мао Цзэ-дуне. Этот ямынь иногда мог делать замечания своему начальнику (на такое отваживались и конфуцианские чиновники); но идея забаллотировать Мао Цзэ-дуна была такой же немыслимой, как, скажем, идея забаллотировать византийского императора, выборного, но самодержавного с той самой минуты, как он взошел на престол (в византийской идеологии это оформлялось снятием с императора, в момент коронации, всех грехов, в том числе смертных, и признанием его равноапостольным.* Аналогичным китайским идеологическим штампом было понятие «мандата неба», автоматически делавшего победившего претендента на престол «сыном неба»).

Став вождем крестьянской войны, Мао Цзэ-дун превратился в центр притяжения монархических чувств. И по мере того, как все дальше и дальше шел этот процесс, шел также процесс удаления от урбанизованных, европеизированных, более или менее интеллигентных слоев китайского населения. Агнеса Смэдли, в книге «Рассказы о китайской Красной армии»**, передает любопытный эпизод. В начале тридцатых годов Красная армия захватила новый район и, как обычно, предложила крестьянам поделить помещичьи земли. Чтобы показать конец помещичьих прав, обычно производилась казнь помещиков — глав семейств. Домочадцев отпускали. Но на сей раз крестьяне не удовлетворились символом (хотя достаточно кровавым) и выразили опасения — не потребуют ли у них землю обратно уцелевшие наследники, когда части Красной армии уйдут. Чтобы накрепко связать судьбу крестьян с

* Ср. статью А. Каждана о византийском самодержавии. «Народы Азии и Африки», М., 1966, № 6.

** Москва, 1935.

судьбой Красной армии, Мао Цзэ-дун позволил себя уговорить. 3 000 домочадцев (из которых 75% составляли женщины и дети, в том числе грудные) собрали на лугу, и крестьянам предоставили возможность вырезать их. Голод по земле заставил их сделать это. Многие, эпически сообщает Агнеса Смэдли, умирали до того, как серп или коса перерезали им жилы — таким было это Иродово побоище. В результате отряды Красной армии могли двигаться среди крестьян, — в соответствии с теорией Мао Цзэ-дуна — как рыба в воде. Но городскую интеллигенцию методы Мао Цзэ-дуна решительно отталкивали.

Положение несколько изменилось в конце тридцатых годов, когда сложился единый антияпонский фронт. Возникло сотрудничество компартии с оппозиционными кругами Гоминдана и другими организациями, в которых группировалась передовая интеллигенция. Это сотрудничество сохранилось в ходе гражданской войны (1945-1949), и в известной мере — после победы, до 1956 года. Внутрипартийной демократии почти не было, но существовала известная возможность диалога с малыми партиями, хранившими демократические традиции в европейском смысле этого слова. Кроме того, существовал диалог в мировом коммунистическом движении, в рамках которого китайская компартия иногда подвергалась критике.*

К сожалению, линия на возрождение ленинских

* Мы отвлекаемся от вопроса, всегда ли были правы критики. Процесс взаимного обмена опытом сам по себе важнее, чем отдельные оценки, верные или не верные.

норм партийной жизни, принятая XX съездом КПСС, и последовавшие затем события в Польше и Венгрии испугали Мао Цзэ-дуна. В 1957 году был предпринят эксперимент «ста цветов». Интеллигенцию пригласили высказать свои критические замечания на страницах партийной печати. Было напечатано много дельных дискуссионных статей. Но через шесть недель последовало поразительное по своему цинизму разъяснение, что лозунг «пусть цветут сто цветов» — уловка: «чтобы отрубить гидре голову, надо выманить ее из логова» (Мао Цзэ-дун). Интеллигентов, которых «выманили из логова», заставили в самых униженных выражениях каяться в своей идейной порочности и связях с американской разведкой, а потом направляли в деревню, говоря крестьянам: «Поглядите на него! У него белые руки. Он никогда не работал. Он ненавидит вас. Заставьте его хорошенько поработать!» После этого можно было не заботиться об охране и надзоре. Старику-профессору некуда было бежать, и крестьяне охотно вышибали из него способность к критическому мышлению. Этот «процесс перевоспитания интеллигенции» длится девять лет, и в течение девяти лет кадры, которые сейчас стали жертвой хунвейбинов и цзаофаней, усердно выполняли указания своего вождя.

Таким образом, критика внутри страны была пресечена, а критику из-за рубежа перестали слушать. Мао Цзэ-дун стал решать задачи социального развития, направляемый скорее страхом утратить авторитет, чем разумом. Рациональная политическая программа, основанная на более или менее трезвом анализе фактов, уступила место казарменной утопии. Результаты были плачевными. 93% стали, выплавленной в ходе «скачка», оказалось браком.

Начался голод. Мао, так сказать, был почтительно отстранен (или сам устранился) от управления экономикой, но ему по-прежнему предоставлялось руководство в области идеологии, и продолжалась травля интеллигенции, и по-прежнему ухудшались отношения с другими коммунистическими партиями.

Дальше начала действовать психология деспота, которую можно изучать на любом примере (Цинь Ши-хуанди, Иван Грозный и проч.). Деспот не в силах прямо и просто признать сделанную ошибку. Если он покаялся — на завтра последует казнь свидетелей покаяния. Чем больше сделанная ошибка, чем легче заметить ее, тем сильнее подозрительность. До 1956 г. были подозрительны только старые, некоммунистические интеллигенты. Потом под удар попали коммунистические интеллигенты, — писатели, критики. Потом даже испытанные кадры партийных руководителей не могли избежать подозрений. Не существует китайской стены, изолирующей критическую мысль. Всякий человек, даже самый преданный, самый дисциплинированный, может усомниться. В глубине души деспот сам сомневается в своей правоте, и поэтому у него ни к кому нет веры (разве только к собственной жене — и то надолго ли?). Появляется желание отрубить *каждую* мыслящую голову. И партийные кадры, в течение девяти лет помогавшие строить плаху, сами стали подниматься на нее. История еще раз показала, что террор против интеллигенции, в конце концов, губит (или, по крайней мере, резко ослабляет) режим, начавший его, уничтожает его собственные кадры. Чем меньше свободы критики, — тем больше ошибок. Чем больше ошибок — тем сильнее подозрительность, сильнее страх разоблачения. Чем силь-

нее страх — тем сильнее террор. Чем сильнее террор — тем меньше возможности для критики, тем больше простора для ошибок. И так — до безумия, до попытки создать какую-то особую администрацию взамен впавшей в сомнения. Администрацию евнухов в период Мин (XIX-XVII вв.), администрацию опричников Ивана Грозного, администрацию хунвейбинов и цзаофаней. Это не борьба с бюрократизмом, как некоторые европейцы ложно полагают, а традиционный эксцесс азиатского деспотизма. Столкновения между деспотом и бюрократией входят в норму самодержавия. Иногда аппарат ссаживает самодержца, иногда самодержец истребляет часть аппарата, чтобы заменить зазнавшихся вельмож более послушными кадрами. Ни деспотизм, ни бюрократизм от этого не терпят убытка.

4. В разделах 1-3 мы несколько раз уже наталкивались на традиционные черты китайской общественной структуры. Но мы не фиксировали на них внимания, рассматривали их как частный случай более общей модели слаборазвитой страны с пережитками добуржуазных общественных отношений. Теперь, напротив, выдвинем специфически китайское на первый план и взглянем на современные китайские события как на очередное звено *китайской* истории, протекающей как бы в вакууме, в пробирке, вне мирового процесса поисков некапиталистического пути развития. Это условность, конечно, но условность полезная. Она даст нам возможность лучше разглядеть те факторы, которые мешают Китаю строить социализм. Разумеется не может быть и речи о том, чтобы на нескольких страницах очертить все своеобразие китайской культуры. Мы ограничимся характеристикой пяти

аспектов ее: китайского гуманизма, китайского рационализма, китайского демократизма, китайской идейности и китайского интернационализма.

КИТАЙСКИЙ ГУМАНИЗМ

Китайская культура — наименее религиозная на свете. Конфуцианство, наложившее огромный отпечаток на всю историю страны — скорее гуманистическое, чем религиозное течение. Когда ученик спросил Конфуция, — как служить духам? — тот ответил: «Мы не знаем, как служить людям, откуда же нам знать, как служить духам?»

Человек стоит в центре конфуцианского мировоззрения. Никакой бог, дух или другое высшее существо не отвлекает от служения человеку. Но конфуцианский человек никогда не находится в «ионизированном» состоянии, не становится независимой единицей. Он всегда только узел семейной и государственной цепи, только часть молекулы. Иначе говоря, человек, стоящий в центре конфуцианской культуры — это еще не свободный человек. Конфуцианскому сознанию близко понимание человека как совокупности общественных отношений, но совершенно непонятно «бесконечное развитие богатства человеческой природы как самоцель» (Маркс). Это можно иллюстрировать еще одним диалогом Конфуция с учеником.

Каковы условия хорошего правления (т. е. благоденствия)? — спросил ученик Конфуция. Тот ответил: «Народ должен быть сыт; должна быть достаточная армия; должно быть доверие народа к правительству».

Без чего из этих трех вы легче всего могли бы обойтись? — не отставал ученик. «Без армии» — ответил Конфуций.

А из оставшихся двух? — «Я предпочел бы остаться без пищи. Испокон века люди умирали, но без доверия к правительству государство рухнет».

Европейский гуманизм, вероятно, ответил бы: «Я предпочел бы остаться без доверия к правительству». Для него (по крайней мере, в теории) общество есть совокупность индивидов, каждый из которых имеет неотъемлемое право на жизнь и счастье. Китайский гуманизм даже в теории исходит из государства как организма, имеющего право пожертвовать любым числом своих клеточек-людей.

Так же своеобразен китайский гуманизм в частной жизни. Жэнь (человечность) часто определяется как любовь. Но это не любовь независимой личности, основанная на свободном выборе. Это любовь детей к своим родителям, младшего брата к старшему и проч. Это любовь внутри семьи (и внутри государства, мыслимого как семья). Кроме семейных, существуют еще дружеские связи, но отношения, основанные на свободном выборе, никогда не выдвигаются в центр жэнь. Ни одна священная книга в Китае не сказала: «да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене своей» (это совершенно кощунственная, безнравственная идея, с китайской точки зрения). Ни один поэт не воспел китайскую Франческу да Римини, нарушившую супружеский долг, или хотя бы китайскую Джульетту, бросившую родителей ради Ромео. Права личности распоряжаться своей судьбой китайский гуманизм никогда не признавал. Конфуций утверждал право личности развивать свой интеллект, свои

чувства, но не поступать по своей воле. Человек обязан был любить своего отца, старшего брата, государя. За это его обязаны будут любить дети и подчиненные. Европейское сознание акцентирует связь любви и свободы, китайское — связь любви и долга.

Таким образом, странное поведение китайских партийных организаций, сочетавших браком своих членов по решению общего собрания, не должно удивлять (хотя автор «Происхождения семьи, частной собственности и государства», вероятно, был бы очень удивлен коммунистической фразеологией, прибавлявшейся к этому патриархальному обычаю). Низовые организации КПК просто унаследовали традиционные права большой семьи.

КИТАЙСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ

Часто приходится читать об исключительном рационализме китайцев. Это довольно справедливо. Религии, основанные на потустороннем блаженстве, никогда не получали в Китае распространения. Многие китайцы верили в духов, но не верили в бессмертие за гробом, и если просили у духов бессмертия, то бессмертия в нынешнем физическом теле. Один император даже скончался раньше времени, усиленно принимая эликсир бессмертия, изготовленный даосскими шарлатанами.

Массовые религии в Китае всегда хилиастичны, то есть основаны на обещании Царствия Божьего на земле. Иначе говоря, это нечто среднее между религией и утопией. Немного упрощая ситуацию, можно сказать, что китайское сознание не религиозно,

а утопично. Оно исходит из утопии доброго правления (при легендарных императорах Яо и Шуне), и так как реальные императоры обычно не жалели народ, то всегда находились охотники поднять «кулак во имя гармонии и справедливости» (самоназвание и-хэ-цюаней, «боксеров»). Это — психологическая предпосылка бесчисленных китайских восстаний. Индийские крестьяне подвергались не меньшему угнетению, но они рассчитывали на жизнь за гробом и мирно умирали с голоду.

Из всего этого, однако, не следует, что традиционное китайское сознание ближе к современному европейскому сознанию, чем индийское. Китайский рационализм совершенно не похож на европейский. В европейском сознании рационализм и индивидуализм — тесно соприкасающиеся понятия, почти синонимы. В китайском сознании это почти антонимы. В истории Китая рационалистическую форму приобрело не индивидуальное, а «роевое» сознание (если воспользоваться термином Л. Н. Толстого). Напротив, индивидуализм нашел выражение только в заимствованном из Индии мистическом учении, буддизме. Социальные функции китайского рационализма и китайского мистицизма относятся к европейским, как негатив в позитиву. Китайский буддизм, в лучшее свое время, был индивидуалистичен, эксцентричен, склонен к эскападам в духе Панурга и других гротескных героев Ренессанса, отличался богемным стилем жизни и больше всего привился среди поэтов и художников (это буддизм чань, вошедший в моду среди битников под японским именем дзэн). Напротив, китайский рационализм имел чиновничий характер и в сущности выражал собой коллективное «аппаратное» сознание.

С древних пор сложились две формы такого рационализма: конфуцианская и легиотская («легизм» — латинский эквивалент китайского термина «фа-цзя», школа государственных законов). Конфуцианство вдохновлялось консервативным семейным гуманизмом, уже описанным выше; легизм — антигуманистическим (даже по китайским масштабам) административным восторгом. Опорой конфуцианства была семья и семейная этика. Государство (по мысли Конфуция) должно было строиться, как идеальная семья. Опорой легизма были наиболее агрессивные формы раннеклассовых государств, практику которых легисты стремились привести в систему, облечь в форму закона. Семья и семейная этика рассматривались как помеха, так же как всякое развитие личности — интеллектуальное, эстетическое, нравственное. Идеолог легизма, Шан Ян, называл любовь к своим близким, самосовершенствование, искусство, науку, всякие духовные интересы — «червями, разъедающими государство». Все это отвлекало от беспрекословного подчинения государю и его министрам и от занятий полезным делом — сельским хозяйством и войной. Человек, с точки зрения легистов, настолько редко бывает сознательно общественным существом, что на это нельзя рассчитывать. Надо просто дрессировать его, как скотину. Хань Фэй, последователь Шан Яна, сравнивал подданного с куском дерева в руках ремесленника. Так же, как ремесленник по своему произволу может сделать колесо или стрелу, сгибая дерево или выпрямляя, — государь, действуя казнями и наградами, превращает своих подданных в трудолюбивых земледельцев и свирепых солдат.

В период относительно спокойного развития в Китае побеждает конфуцианское учение, с его консервативным патриархальным гуманизмом, и (обычно на заднем плане) какие-либо мистические учения (для эмоциональных натур и для народа, которому ученое конфуцианство всегда оставалось несколько чуждым). Но в период, когда назревают общественные сдвиги, единственной альтернативой оказывается легизм (или нечто вроде легизма, потому что легизм как таковой был осужден после эксцессов династии Цинь).

Всякая группа, обособляющаяся от государства и идущая своим путем, рассматривается в Китае как заговор и подавляется. Поэтому новаторское меньшинство не может экспериментировать на свой страх и риск, — с тем, что в случае успеха другие добровольно станут подражать ему (как это делалось в Северной Европе). Меньшинство, желающее обновления страны, должно захватить власть и силой навязать свою волю большинству. А насилие над большинством имеет свою логику, логику административного восторга, на какой-то ступени переходящего в безумие.

Вспомнив толстовскую метафору роевого сознания, можно описать Китай как рой, очень организованный и спокойный в своем старом улье. Но в момент смены улья рой становится чрезвычайно возбудимым, поминутно грозящим наброситься на случайного прохожего и искушать его до полусмерти, безо всякой видимой надобности. Это именно состояние китайского коллектива выражается в революциях сверху и снизу, в движениях тайпинов, хунвейбинов и т. п. Китай непременно должен вернуться всем корпусом, «все вдруг», организо-

но, по единой команде. А избыток команд всегда порождает хаос.

Идеология, основанная на постулате личной инициативы, не могла привиться в Китае. Не мог быть полностью понят и марксизм, который снимает крайности индивидуализма, но вовсе не снимает стремления личности к свободе. В Китае нечего было снимать, новое время с его индивидуализмом едва коснулось нескольких прибрежных городов. Марксистская критика буржуазного индивидуализма, воспринятая сознанием, не дошедшим до буржуазного индивидуализма, привела к возрождению добуржуазного мышления (в одной из его самых непривлекательных форм). Полуконфуцианский Китай, — который Гоминдан не сумел расшевелить, — превратился в Китай легистский. Воскрес дух Шан Яна и Хань Фэя, Цинь Ши-хуанди и Цао Цао (раннесредневековые последователи древнего императора).

В течение ряда лет всех хрестоматийных извергов китайской истории реабилитировали, подымали на щит, приводили в пример расслабленным буржуазным (и мелкобуржуазным) гуманистам. И сейчас опора на Маркса и на Ленина постепенно становится менее нужной, отступает на второй план. Можно прямо цитировать отечественные источники. Или изрекать новые истины в том же стиле. Логика административного восторга, выраженная в словах, сама собой приобретает форму легизма. Мао Цзэдун, по-видимому, не вспоминал Хань Фэя, когда сравнивал китайского крестьянина с куском чистой бумаги, на котором можно написать любые, самые прекрасные письма. Он просто думает, как Хань Фэй, и поэтому ему приходят в голову сходные об-

разы. Точно так же нельзя считать, что современные руководители хунвейбинов сознательно подражают легендарным подвигам Цинь Ши-хуанди и его премьер-министра Ли Сы, сжигая книги. Они просто думают сходным образом, оказавшись в сходных условиях большого социального сдвига. К сожалению, китайская цивилизация способна на сдвиги только в форме всплеск административного восторга, после которых приходится веками залечивать раны, нанесенные культуре.*

КИТАЙСКИЙ ДЕМОКРАТИЗМ

По крайней мере начиная с периода Тан (VII-IX вв.), любой крестьянский сын, успешно сдав экзамены, мог стать первым министром. А при исключительно благоприятных условиях — даже императором (как основатель династии Мин). У китайцев совершенно нет аристократических предрассудков. Но не всякое отсутствие аристократизма есть демократизм. Традиционному Китаю не хватает одной черты, характерной для любой европейской формы демократии (рабовладельческой, феодальной или буржуазной — безразлично); не хватает легальной оппозиции. Китаец, до тех пор пока он не вступает в заговор, даже в мыслях своих не допускает оппозиции. Он может протестовать только против произвола министров, временщиков. Один из достойнейших сановников периода Мин, Цзо Гуан-доу, обвинил временщика-евнуха в бесчисленных пре-

* Ср. В. А. Рубин. Два истока китайской политической мысли. «Вопросы истории», М., 1967, № 3, стр. 70-81.

ступлениях и был за это замучен в тюрьме по приказу императора Гуан-цауна. В последнем письме сыновьям, написанном после нескольких недель ежедневных пыток и без всякой надежды на спасение, Цзо Гуан-доу пишет: «Я испытываю страшную боль и тоску, но я жалею только о том, что мое наполненное кровью сердце не было способно отблагодарить императора» (1625 г.).

Китайское политическое поведение знает только два уровня: безусловная преданность или заговор. Практически эти модели сочетаются, т. е. за оболочкой преданности часто плетется паутина тайных обществ и придворных интриг. Когда терпение народа истощается, он всегда находит организации, готовые возглавить восстание. Находятся и руководители — чаще всего из числа кандидатов на государственные должности, невыдержавших экзамены или просто недоучившихся. Эти кандидаты-двоечники возглавляли из века в век многочисленные крестьянские движения, придавая им известную организованность и способность создавать гражданский и военный аппарат (в частности, из двоечников вышел император Тайпинов).

Что касается идеологии, то отчасти она содержится в конфуцианстве: сам Кун-цзы отказывал в преданности тирану (не определяя точно, кого считать тираном). Мэн-цзы, второй авторитет конфуцианской школы, прямо признавал право народа на восстание. Дополнительным толчком могло быть любое религиозное учение, проникшее в массы и понятое ими хилиастически, т. е. как обещание рая на земле. Тайпины, в XIX в., вдохновлялись плохо понятым христианством; хунвейбины, в XX в., вдох-

новлялись плохо понятым марксизмом. Результаты одни и те же: хаос.

КИТАЙСКАЯ ИДЕЙНОСТЬ

Для древнего и средневекового Китая характерно было сосуществование нескольких философских и религиозных школ и, по крайней мере, двух принципиально несоединимых структур мысли: систематической — и враждебной системе, эссеистической, интуитивно-внезапной, субъективной. Один из последних взлетов эссеистического мышления — поучения Лу Сян-шаня (XII в.). Лу Сян-шань, подобно Сократу, ничего не писал, он просто беседовал с учениками, стараясь помочь им лучше понять самих себя. «Шесть классиков, — говорил Лу Сян-шань — комментируют человека. Зачем же мне комментировать классиков?»

Поучения такого типа не годились в качестве руководства к действию, в качестве инструкции для государственных чиновников. Но они были ценным дополнением к инструкциям, систематическим учениям. Они мешали застыванию китайской мысли. К сожалению, в последние восемь веков имперского Китая тенденция к всеобъемлющей, окончательной и поэтому мертвой системе оказались сильнее неконформистских течений. Синтетическая концепция, созданная (в том же XII веке) Чжу Си, поразила воображение ученых (так же как в XIII веке, в Европе, система Фомы Аквинского, а в XIX веке — система Гегеля). В то же время, Чжу Си понравился и правительственным кругам. Дело в том, что независимость Китая находилась в XII веке под сильной угрозой (наступали гжур-гжени, захватив-

шие Север, потом их сменили монголы). И перед лицом опасности Чжу Си призывал к укреплению власти и строгому выполнению своего долга. При жизни это доставило ему только неприятности, потому что Чжу Си критиковал вельмож, обладавших достаточной властью, чтобы уволить непрошенного советчика. Но вельможи умерли, а книги Чжу Си остались, и благодаря призывам к укреплению власти они стали любимым чтением императоров.

Таким образом, и ученые, и правительственные круги сошлись на том, что лучше Чжу Си не придумаешь. Это создало новую ситуацию. Торжество одной школы дало правительству возможность осуществить задачу, поставленную еще Цинь Ши-хуанди, но тогда (в III веке до н. э.) не решенную: создать единый имперский идеологический стандарт. Работать в этом направлении начал основатель династии Мин, крестьянин, ставший императором под именем Тай-цзу (XIV в.), а закончили маньчжуры, в первый век своего господства (между 1650 и 1735 гг.).

Тай-цзу был очень своеобразным политиком. Придя к власти во главе антимонгольского восстания, он повелел вынести из храма Конфуция табличку с именем Мэн-цзы, решительнее других оправдывавшего восстание против тирана (чтобы другим не повадно было). Скрывая когда-то свои замыслы под одеждой буддийского монаха, он подозрительно относился к монастырям — убежищам новых оппозиционных элементов.* Идейное влияние буддийских монахов на народ надо было чем-то заменить — и

* Один из наследников Тай-цзу велел сводить бонз ко двору, закапывать по шее, голова к голове, и палачи состязались, кто сколько голов отрубит одним ударом. Это называлось праздником голов.

тут-то впервые появился сборник цитат (из произведений Чжу Си), удобных для чтения нараспев и заучивания наизусть. В дальнейшем династия Мин помирилась с буддизмом, но при маньчжурах, традиционных поклонниках Конфуция, заучивание цитат возобновилось. Император Кан-си (XVII в.) позаботился о новых изданиях сборника, а император Юн-чжэн расширил его и под названием «Священного эдикта» сделал основой идейной обработки масс.

Грамотные китайцы имели право и даже обязаны были, готовясь к экзаменам, читать подлинники. Но, во-первых, подлинники фальсифицировались, из них выбрасывались слишком смелые места, а старые издания систематически сжигались. Во-вторых, всякая самостоятельная мысль на экзамене означала провал, и фактическими объектами изучения стали не Конфуций и даже не Чжу Си, а образцовые сочинения, соответствующие видам начальства и отмеченные им. Такое воспитание с детства калечило умы.

Отдельные ученые восставали против произвола цензуры, но никто не протестовал против принципа цензуры. Признав неоконфуцианство Чжу Си полным и совершенным выражением истины, нельзя было оспаривать право и даже обязанность правительства защищать истину и пресекать ложь. Таким образом, ученые сами создали тень, которая усеялась, как в сказке Е. Шварца, на их место.

«Повелевая вселенной, — писал в 1656 году император Шунь-чжи, — я прежде всего забочусь исправлять людские умы. А чтобы исправлять людские умы, моя первая забота — изгнать еретические способности». О том же беспокоится император Кан-си

(в 1670 г.). «Законы и распоряжения — не единственная моя забота; на первое место я ставлю преобразование людей с помощью идейного воспитания». «Исправление людских умов», «промывание умов», «промывание умов и чистка мыслей» — обычные выражения из документов XVII-XVIII вв., посвященных идеологическим проблемам. Народное образование и наука целиком подчинились этой задаче. «Государство должно содержать ученых не ради простого поощрения литературных талантов, но чтобы воспитывать в народе должное почтение к правителям и порядкам», — писал император Юнчжэн (1723-1735).

Это идеи, на которых, можно сказать, был воспитан Мао Цзэ-дун. Детские годы его прошли до революции 1911 года, и почти наверняка он начинал ученье по «Священному эдикту». Сборник цитат из произведений Мао Цзэ-дуна, удививший европейских марксистов своей структурой, был простым возвращением к пройденному, к испытанным методам шести веков.

Помимо сознательного расчета на психологию малограмотных, известную роль здесь могла сыграть психология самого Мао. Старики легко забывают зрелые годы и вспоминают детство, отрочество, юность. В обычных отношениях между людьми этот процесс встречает сопротивление окружающих и тормозится. Но вождь, окруженный раболепием и лестью, не встречает никакого сопротивления. Постепенно наносной слой концепций, усвоенных холодным умом, сходит с него, и все чаще всплывают вкусы, пристрастия, предрассудки, связанные с теплыми воспоминаниями детства. Эти наплывающие воспоминания не всегда определяют лексику Мао

(в выборе слов человек больше контролирует себя), но они почти целиком определяют структуру его мысли. Он думает о себе, как о марксисте — но имперский марксизм* означает просто заявку на мировое господство, ничем по сути дела не отличающуюся от притязаний Тай-цзу или Кан-си.

КИТАЙСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

С известной точки зрения, китайцы всегда были интернационалистами. Они не составляют нацию в европейском смысле этого слова, то есть цивилизованную этническую индивидуальность, сознавшую себя чем-то особым наряду с другими индивидуальностями. Китай признавал себя просто как цивилизацию (Поднебесную, Срединное царство), окруженную варварами. Варвары могли цивилизоваться, то есть усвоить китайскую цивилизацию; в этом случае они стали бы не цивилизованными тибетцами, или цивилизованными вьетнамцами, а просто китайцами.

Состояние некитайской цивилизованности всегда рассматривалось китайцами как промежуточное, не совершенное. И если на престоле Китая оказывалась воинственная династия, соседним народам пытались помочь стать настоящими людьми, такими же, как все остальные подданные сына неба. Это представление так прочно вошло в китайские голо-

* Термин, который мы предлагаем внести по аналогии с имперским конфуцианством (идеологическим штампом, созданным из конфуцианских изречений, в отличие от ученого конфуцианства).

вы, что даже в 1950 году, когда руководство КНР, вообще говоря, с большим вниманием относилось к советскому опыту, Тибету был предоставлен только статут автономного района (а не союзной республики). То же относится к Синьцзяну. Идея равенства тибетцев или уйгур китайцам выглядит для китайца так же нелепо, как равенство Варварства и Цивилизации. То, что тибетцы и уйгуры — народы с тысячелетней историей и довольно богатой культурой (относительно тибетцев можно даже сказать: исключительно богатой), не имеет значения. Современные китайцы, потомки бесчисленных племен и народов, поглощенных Срединной империей, считают, что их судьба почетна для каждого. Китай так же чужд понимания безусловности этнической индивидуальности, как и безусловности личности. В настоящее время администрация КНР насильственно окитаивает Синьцзян и Тибет, переселяя туда миллионы китайцев и усиленно поощряя смешанные браки. Примерно таким же образом выглядело бы всемирное социалистическое содружество под руководством председателя Мао. К счастью, планы председателя еще очень далеки от исполнения.

5. Подводя итоги, хочется предупредить против ошибки, сделанной мюнхенцами в тридцатые годы. В общем, они знали, что Гитлер собирается напасть на Францию, но исходили из того, что это неправильно, не должно быть и поэтому не будет, если с Гитлером хорошенько поговорить. Есть две формации, капитализм (Запад) и социализм (СССР). Гитлеровская Германия — часть Запада, вариант капи-

тализма (пусть несколько беспокойный вариант), и конфликт двух вариантов одной формации не может, не должен быть таким глубоким, как конфликт между принципиально разными формациями. Логически мюнхенцы рассуждали правильно, но история их оставила в дураках. Задним числом можно заметить, что они допустили одну теоретическую ошибку. Разница между вариантами формации второстепенна (сравнительно с разницей между формациями) до тех пор, пока речь идет о разнице путей (скажем, прусского и американского пути развития капитализма). Но совсем другое дело, если приходится выбирать между путем и тупиком, между дорогой (пусть более длинной, обходной) и шагом в пропасть.

Сравнительно с тупиком, любая дорога — благо. Сравнительно с шагом в пропасть, любая обходная тропа — спасение. На основе этого и возникла антигитлеровская коалиция. Когда один из жильцов сходит с ума, все соседи (в том числе плохо ладившие друг с другом) соединяются, чтобы связать буйнопомешанного.

Можно возразить, что современный Китай очень слаб, и агрессия его неопасна. Это верно. Но если семена, посеянные нынешним поколением китайских руководителей, взойдут, нашим детям придется пожинать тяжелую жатву. И нужно очень многое, чтобы предупредить ее: меры предосторожности — против уже сложившегося очага агрессии, и продуманный план помощи слаборазвитым странам, чтобы не дать им дойти до отчаяния, и продуманный план диалога с китайским народом...

Обо всем этом нужно думать и думать.

РАЗГОВОР С УЧЕНИКОМ

Адресат этого письма — не мой ученик. Просто он ученик средней школы (наверное десятиклассник), откликнувшийся на статью в газете «Комсомольская правда», о какой-то нечуткости каких-то ребят. Письмо поставило редакцию в тупик, потому что автор его, пользуясь чисто советскими словами о здоровом коллективе и т. п., развил чисто ницшеанскую идею о том, что слабые, интеллектуально неполноценные могут быть только терпимы (пока они знают свое место), но относиться к ним как к людям невозможно.

Письмо перепечатали на машинке и раздали всем участникам совещания на тему, которую обессмертил Руссо своим ответом: «способствовало ли развитие наук нравственному прогрессу». Участники пожимали плечами: без каких-то непечатных слов (ну там о бессмертии души и проч.) ответить мальчику казалось невозможным. На совещании у меня разболелась голова от страшного разнобоя: словно лебедь, щука и рак, словно строители вавилонской башни, которым Бог смешал языки, — так представители элиты пытались приложить свои интеллектуальные конструкции к предложенному вопросу и так это чудовищно беспомощно звучало (за исключением одного нечаянного выступления, — взрыва в ответ на какой-то идеологический шаблон, чисто разрушительного, без объединяющей идеи). Разболелась голова, подскочило давление, и я мгновенно поглупел. Эта внезапная слабость и стала ключом к ответу.

На другой день я сочинил свою реплику, она в

общем понравилась, была приготовлена к печати, потом по разным причинам несколько раз задерживалась и наконец была набрана, но снова задержана главным редактором.

После ряда передраг, письмо ученика потерялось, а у меня остался очень испорченный текст, без нескольких моих мыслей и с несколькими чужими выражениями.

Можно было выбросить все в корзину, но это первое мое столкновение с человеком успеха, с героем нашего времени, о котором я много думаю. И ради того, что я еще напишу о нем, мне захотелось восстановить, по мере сил, первоначальный набросок.



...Мне кажется, что Вы рассуждаете совершенно правильно. Этому школа Вас научила. Но непосредственное чувство подсказывает, что выводы, к которым Вы пришли, нелепы. Вспомните геометрические рассуждения, заканчивающиеся формулой: *absurdum est*. Доказательство ведется правильно, но вывод нелеп. Следовательно нелепы исходные предпосылки. Сознаете ли Вы эту возможность? Мне кажется, Вы очень хорошо сознаете ход рассуждений (до известного момента, дальше которого Вам не хочется идти), но Ваши исходные предпосылки остаются погруженными в подсознание, в область «само собою разумеющегося». Давайте попробуем раскрыть эти постулаты, отчетливо их написать:

1. Я всегда буду молод.
2. Я всегда буду здоров.

3. Я всегда буду быстро решать интеллектуальные задачи.

4. Я всегда буду жить в коллективе молодых, здоровых людей, быстро решающих интеллектуальные задачи и презирающих тех, кто этого не умеет.

5. Я никогда не окажусь в конфликте со своим окружением; мне никогда не придется в одиночестве выступать против сплоченного большинства, как это приходилось Джордано Бруно, Галилею и многим другим (отнюдь, кстати, не глупым людям).

6. Я вообще не могу ни при каких условиях оказаться неудачником, отвергнутым преуспевающим коллективом.

7. Я никогда не полюблю девушку, которая не захочет вступить в клуб господ.

8. И т. д.

Но, собственно, кто Вам это обещал?

Какой фее оказали услуги Ваш батюшка — король и Ваша матушка — королева?

Ну, а вдруг Вы заболете и потеряете способность быстро решать интеллектуальные задачи? Признаете вы себя тогда человеком второго сорта, или перемените теорию?

Ну, а вдруг коллектив вышвырнет вас? Хотя бы по какой-нибудь ошибке, которая разъяснится лет через 5 или через 10? Сумеете вы удержаться один? Или добровольно признаете себя мразью — раз с вами обошлись как с мразью?

Ну, а если вам просто не будет везти? Другие будут получать звания, премии, оклады, а вы — так, на тебе, убоже, что нам не гоже. Сумеете Вы остаться человеком без успеха? Понимаете ли вы что есть два обаяния: одно, растущее от удач и

гаснущее от неудач, — и другое, которое от неудач только разгорается? Что есть люди, живущие в коллективе, — и есть люди, создающие коллектив?

«Коллектив», которым вы гордитесь, напоминает группу ребят, едущих за город и не желающую вытаскивать полуторку, застрявшую в грязи. Им не приходит в голову, что назавтра они сами могут застрять. Им не приходит в голову, что «коллективность», спайка, общность вкусов и мыслей достались им даром. Это просто черта мальчиков и девочек одного года рождения, связанных общими условиями жизни. Это солидарность, созданная временем, и время очень быстро может ее разрушить.

Достаточно перейти из учебного заведения (где пятерок на всех хватает) в жизнь, где первых мест хватает не на всех, где сталкиваешься с людьми разного опыта, разных вкусов (не низших, а просто разных), что тогда? Если мнения разойдутся, если коллектив расколется? Сумеет ваш герой объединить его? Да и захочет ли объединять? А если его самого по ошибке вытолкнут — сумеет ли оставаться на ногах?

Я учился в первом выпуске десятилеток. Четыре года наш класс был самым старшим в школе, три года — единственным старшим. Можете вообразить себе, какими умниками мы себя считали? Сейчас об этом даже вспомнить смешно. Может быть, вы когда-нибудь тоже будете со смехом вспоминать о своих теориях.

Вы складно пишете о «неком современном уровне стандарта человека». Но хороши только стандартные оконные рамы, а не люди. Настоящий человек, прежде всего, не стандарт, а личность. И эта личность остается собой в самых плохих условиях. Даже в очень трудных условиях она не «отстанет в

развитии», не «утонет в мелочах», не станет «нетребовательным обывателем». Я мог бы привести вам в пример нескольких современных писателей, долгие годы не имевших возможность читать книги — и все-таки не потерявших своего дара.

Вы успели оценить в человеке только одно: быстроту ума. Ну, и быстроту восприятия модных песен, картин и т. д. и т. п. Я не сторонник тупости, и ценю быстроту ума, и люблю современную живопись, «трудные» стихи. Но можно ли считать это обязательным для всех, имею ли я право презирать людей, которые не понимают, скажем, Мандельштама и Цветаеву, моих любимых поэтов? Из Вашего представления о человеке совершенно выпало самое важное — *нравственное развитие*.

Отсюда простое деление на сильных (то есть быстро решающих задачи) и слабых (то бишь плохих математиков). Но «сильный» может оказаться в чем-то очень слабым человеком, а слабый — сильным. Может случиться так, что не «сильный» снисходительно поможет «слабому» (решить уравнение второй степени), а «слабый» поможет «сильному» (вспомните, как глупенькая Соня Мармеладова понадобилась умному Раскольникову! Вы не подозреваете, что хорошее сердце в человеке — гораздо более редкий и ценный дар, чем способность «переливаться оттенками модных увлечений»), не могу отказать вам в даре слова: отлично сказано! (Если будете писать о «Горе от ума», непременно используйте для характеристики Репетилова).

Вы снисходительны: «для слабых пока еще много дела... и отношение к ним может быть вполне человеческое — даже заботливое». Но только если слабые «осознают необходимость слушаться и во всем поддерживать сильных», то есть если они са-

ми себя осознают людьми второго сорта. Помилуйте, но что вы практически сделаете, чтобы «слабые» знали свое место? Будете вываливать непокорных в пухе и перьях? Линчевать? Подумайте немного, и вы поймете, что снобизм, презрение к товарищам, работающим головой медленнее, чем, как вам кажется, делаете это вы, неизбежно провоцирует «обратную реакцию» — хамство, враждебность к интеллектуальному превосходству (даже действительному), заставляет простых людей, даже очень неплохих, враждебно относиться к интеллигентности, смешивая ее с вашим высокомерием.

Между тем, люди действительно великого духа никогда не отрицали нравственной равноценности и «первосортности» каждого человеческого существа...

«Отвлеченную демократию, справедливость, человечность» вы противопоставляете «реальной жизни, борьбе за успех, за максимальное развитие». А знаете, что мир, в котором царствует «борьба за успех», Гегель назвал «духовным царством животных»? Вы, наверное, никогда не слышали слова английского поэта Джона Докка, что «человек — это не остров, а часть суши, и где бы ни умалился континент, это умялешься ты, и потому не спрашивай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе». Вы никогда не слышали, что для вполне развитой личности каждый человек (без снобистских кавычек) обладает бесконечным правом на внимание. Вы просто не дошли до этого уровня и не дойдете, пока не почувствуете стыда за свою нравственную недоразвитость.

Ни один человеческий коллектив не может существовать без какого-то минимума солидарности между *всеми* его членами. Чем многочисленнее и дифференцированнее коллектив, тем это сложнее.

Поэтому существует объективный, не зависящий от вашей и моей воли *прогресс нравственных задач*. Кроманьонцу легко было любить своих ближних: это всего сорок-пятьдесят сородичей, с которыми он находился в постоянном контакте. Цивилизованному человеку приходится быть солидарным с миллионами людей, которых он в глаза не видал. Эта задача, осознанная двадцать-двадцать пять столетий назад, долго решалась только одиночками. Массы продолжали жить по старой групповой морали, все больше и больше распадавшейся (по мере того, как границы группы становились менее определенными и человек становился участником нескольких групп сразу). Отсюда привлекательность примитивных культур, открытая романтиками и модернистами: замкнутая группа земледельцев или скотоводов решает более простую нравственную задачу и решает ее хорошо. Средний бушмен — хороший бушмен. Средний крестьянин — неплохой человек. А в центрах цивилизации трудно. Средний цивилизованный горожанин, если он не дорос до своей нравственной задачи, стремится уйти от нее, замкнуться в группу с ограниченной ответственностью: в свою нацию, в свою секту. Вы следуете той же самой логике, пытаетесь создать «общество умников» с ограниченной ответственностью за прочих (глупых, слабых). Но история движется в противоположную сторону. История стиснула три миллиарда людей вместе, в пространство одного летнего дня, и не позволяет решать споры между группами на кулаках: слишком тяжел наш кулак, от удара сегодняшнего кулака может погибнуть вся биосфера. Поэтому развитие чувства солидарности становится задачей все более и более неотложной для каждого.

Поднять средний уровень нравственной ответственности каждого и всех до уровня, известного раньше только немногим, эту задачу поставил перед нами XX век, век неслыханно острых конфликтов, мировых и классовых войн, когда абстрактные разговоры о гуманности и общечеловеческой нравственности кажутся смешным лепетом. Но именно в XX веке вопрос о соблюдении всеобщих нравственных законов, об обязательном уважении к противнику, к врагу на войне, стал предметом международного судебного разбирательства.

Военных преступников судили не за то, что они вели проигранную войну, а за то, что они своих противников не считали за людей, или, если и признавали за людей, то второго сорта. Именно это деление людей на первосортных и второсортных осознано в XX веке как безнравственность и как *преступление*, нарушение международной правовой нормы. Вспомните фильм «Нюрнбергский процесс», вспомните Петерсена, стерилизованного потому, что он не сумел решить задачу про охотника и зайцев.

Додумайте это до конца — и нравственная равноценность каждой человеческой личности станет для вас законом. Равноценность, разумеется, самого человека, хотя и не обязательно его поступков, мыслей, взглядов.

Попытайтесь вообразить себя не за партой, а в большом современном мире, где сталкиваются культуры совершенно различных уровней, совершенно различного склада, где приходится искать решения, приемлемые для белых и черных, китайцев и индийцев, русских и американцев. Попытайтесь мысленно решить хотя бы одну из проблем, как принято говорить, в духе мира и мирного сотрудничества. Попытайтесь это сделать, исходя из

интеллектуального высокомерия вашего героя. И вы увидите, что логическим следствием этого высокомерия может быть только одно: право сильного, кулачное право (если кулак интеллектуальный, от этого дело не меняется). И это, к сожалению, может испортить не только вашу жизнь, но и жизнь всех людей, с которыми вы соприкоснулись.

1966-1968

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Осенью 1967 года я написал первую редакцию своего эссе «Человек воздуха» (потом он получил название «Человек без прилагательного» и «Человек ниоткуда»).

Почти год я выслушивал возражения друзей, вычеркивал, вписывал, исправлял. Происходили события — и входили в построенную модель вставными эпизодами. Но вдруг случилось нечто, не влезавшее в текст. Не договорив монолога, Гамлет упал в оркестр. Эссе, который никак не удавалось окончить, оказался написанным в прошлую эпоху, а мы — в новой.

В том, что у меня написалось, есть одна условность: все строится по оси спора с почвенниками. Запах кваса и погрома заставил меня определить себя как человека диаспоры. Встал на точку зрения диаспоры и развил ее насколько мог. Я встал на точку зрения «вонючего интеллигентского гуманизма», от которого бегут поклонники Розанова, и постарался показать, чем может и должна стать интеллигенция. Но диаспора и даже интеллигенция — это не клетки, в которые я посадил себя на всю жизнь. В самом глубоком слое я чувствую себя человеком без всяких прилагательных: определить и ограничить себя я согласен только по отношению к тому, что находится над всеми частными решениями. Можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой, Единым, Ничто: я не привязан ни к одному из этих слов больше, чем к другим. Но этому что-то, насколько я его понимаю и угадываю, я служу. А все то, что можно высказать, сформулировать, не связы-

вает меня безусловно, и я всегда готов сказать вместе с Достоевским: «если бы как -нибудь оказалось (предполагая невозможное возможным), что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Иначе говоря: с тем, что я люблю, а не с отвлеченным принципом. Принципы для меня все условны, в том числе принцип диаспоры (а не земли), интеллигенции (а не простецов) и пр. Иногда я буду с простецами против снобов, с народами и племенами против космополитов и т. п.

Мой спор с внутренне честными почвенниками только об одном: где искать нравственную опору. Я утверждаю, что почва сползает, и корни, пущенные в нее, легко могут оказаться в пустоте.

Я утверждаю, что надо искать опору в первичных впечатлениях бытия, то есть в тех слоях подсознания, которые воспринимают какую-то подсказку, какие-то сигналы от бытия как целого, неразложимого на атомарные факты и потому таинственного, непостижимого. Если какой народ эту способность сохранил, то разве только бушменский; этой способности нельзя научиться у нынешних масс.

Один из моих собеседников заметил, что подлинная почва — это религиозная традиция, что народ еврейский сохранился, потому что почвой его была вера, и такой же почвой для современной Европы, впавшей в духовное рассеяние, может стать христианство. Я согласен с этим, если подчеркивать в христианстве некий дух (который есть и в других вероисповеданиях). Я не согласен с этим, если подчеркивать исключительность христианства и противопоставлять его всем духовным традициям мира, в том числе самым высоким. В таком обособлении я вижу попытку спрятать голову в песок, уйти от

трудного вопроса о едином языке и едином образе духа для всех континентов и даже, во многих случаях, попытку поставить китайцев, например, вне круговой поруки добра. Впрочем, какой-то первой точкой опоры, каким-то бревном в водовороте может быть и самая исключительная христианская вера.

«Человек ниоткуда» был попыткой поднять против пряничного — погромного — почвенничества чистое, не захвачанное сейчас никакими подонками знамя космополитизма. Но я вовсе не говорю, что космополитизм (интернационализм) всегда благо, а почвенничество — всегда зло. Смотря какое почвенничество, смотря как оно повернуто, смотря в чем искать «почву». В почвенничестве мелькают несколько идей, с которыми я совершенно согласен. Я вполне понимаю Л. О., сказавшую, что Колыма ее тревожит гораздо больше Освенцима, и не отказываюсь от своей доли стыда, от своей доли национального позора. Я вполне понимаю и принимаю боль за свои национальные язвы, повышенное чувство ответственности за родные грехи. То, что я отвергаю, это только поиски вредителя в другом, в инородческом и иноверческом микробе. Я убежден, что с этого начинается авторитарное мышление, черная сотня, фашизм.

Мы расходимся с внутренне честными почвенниками в понимании многих вещей, но мы сходимся в неприятии морали, которую массы спокойно принимали: закон — тайга, мишка-прокурор. До каких-то пор я готов идти вместе с Л. О. и всей не-глазуновской частью почвеннической интеллигенции, потому что все мы не можем дышать в присутствии дьявола, а это сейчас главное.

Потому что то, что произошло, трудно описать иначе: мы внезапно ощутили живое присутствие

дьявола. Темные слои подсознания, которые казались дремлющими, внезапно оживились и стали подсказывать ходы игрокам в крупной международной игре. Мир покачнулся — и сделал еще один шаг к концу. Потом остановился, как Пизанская башня, наклонившись над бездной. И мы вернулись пить свой кофе и размышлять над положением пучков в многомерном пространстве.

Политика и мораль — разные вещи. Это, может быть, верно сегодня, завтра, послезавтра, и вдруг целая цивилизация, подорванная упадком нравов, идет под откос. Где-то есть предел, а за ним пропасть, в которую обрушивались древние царства. Его нельзя переходить, но сейчас все человечество подошло к этой грани, и все мы рухнем, как обры, о которых писал летописец: «были телом велики и духом горды, и погубил их Бог, и осталась поговорка на Руси: погибоша аки обре, их же нет ни племени, ни наследка».

Есть предел политической безнравственности, оправданной государственными соображениями, за которыми гибнут Гоморра и Содом, гибнет царство Ассурбанипала, Цинь Ши-хуанди, Гитлера, Муссолини. Потому что человеческое общество не может существовать без какого-то минимума солидарности — естественной, не предписанной законом.

Мне возражали, что фашистские государства вовсе не были безнравственными. Что нравственность как система общественных норм была там строже, чем в государствах демократических. Да, но нравственность лишь *попутно* работает как система общественных норм. В своей основе нравственность — это заповеди, необходимые лишь для того, чтобы человек в своем поведении не затапывал те слои подсознания, которые способны работать как прием-

ник и улавливать то, что Моисей назвал голосом Яхве, Будда — дхармой, а Лао-цзы — дао. Назовите это, как хотите. Но никакой другой, лучшей нравственности рационализм не смог придумать. Когда прекращается шёпот неба, начинает вдохновлять бес, и дьявольщина разрастается в обществе, пока не пожрет его. Это объективный исторический закон, который впервые сформулировал Сыма Цинь (если Н. И. Конрад правильно интерпретировал соответствующий иероглиф), и никакие нормы, установленные государствами и диктаторами, не помогли против этой болезни. Все они держатся на инерции религиозной нормы и падают вместе с ней.

Существует объективный минимум солидарности, без которой общество разваливается, и от эпохи к эпохе этот минимум не падает, а растет. Бушмену достаточно любить 40-50 людей, с которыми он вместе кочует по пустыне. Это ему легко удастся, и средний бушмен — хороший бушмен. В большом племени, при тесных связях маленьких родовых групп, поселений, деревень — труднее быть хорошим. Поэтому увеличивается роль внешней регуляции, всяких норм, законов, правил. Не надо думать, что законничество было только у древних евреев. Племя гого в Танзании регулирует такие вещи, которые ни Моисею, ни даже Эзре не пришлось бы в голову узаконить; например, муж непременно должен укладываться на правый бок и ласкать жену левой рукой, хозяйки вливают помои непременно на запад (как и наши журналы) и т. д.

В ранних империях, смешавших и рассыпавших племена, племенные законы также рассыпались. Римские императоры попытались выйти из нравственного хаоса, дав народам себя как бога, а свои эдикты как заповеди. Но императоры (даже очень

хорошие, как Марк Аврелий) были слишком заняты государственными делами. Они едва успевали войти в роль нравственного образца, как опять надо было кого-то распинать, пытаться, раскрывать заговор. А эдикты, оставленные на бивуаке, слишком отдавали государственной необходимостью, и совсем мало — человеческим сердцем.

Тогда пришел Иисус, сын плотника из Назарета, и сделал то, чего не сумел цезарь. Он вернулся к нравственной интуиции, оставленной законниками, и прислушался к ней до того, что стал «одно с Отцом», — и в этой форме, подсказанной традицией, понял, что чувствует любовь к каждому человеку, каждому созданию на земле как к своему ребенку. Нового закона еще не было, но Иисус сам стал законом («написанным в сердце»); он знал, когда выполнять старые законы, а когда не нужно. Ему подсказывала та же нравственная интуиция, которая помогает бушменам жить на стоянке без ссор — только интуиция более развитая, способная обнять всю землю.

Так была решена задача времени. Так родился «Сын Божий», гений человечности, способный любить все 10 или 20 или 30 миллионов подданных Римской империи, и варваров, угрожавших ее границам, и друзей, и врагов, как самого себя. И был найден ключ к превращению массы, покорившейся римскому закону, в народ, связанный не только общим страхом, но и любовью. То есть — к солидарности без кровной мести между родами, без племенной вражды. Ключ этот был найден в человеке, ставшем совершенным, «как совершен Отец наш Небесный» — то есть открывшем в себе все те качества, которые пророки увидели на небесах.

Иисус нес себя миру, но для мира это было слишком просто: обновиться, преобразиться полностью он

не мог. Миру нужен был компромисс ветхого и нового Адама — и он получил этот компромисс как смесь монастыря с исламом.

Иисус не устраивал монастырей. Это сознательно делал только Будда, может быть, потому, что общество, с которым он столкнулся, еще меньше подготовлено было к реформам. Но сыновья Нового Адама нетвердо стояли на ногах, — чтобы не затеряться, чтобы уцелеть, они уходили в пустыню, собирали своих за монастырской стеной. Оттуда они потихоньку светили миру (как Сергей Радонежский — Дмитрию Донскому), там они хранили душевный огонь для дня, когда мир созреет, чтобы принять его. А для мирян, потерявших племенной завет, был создан ислам. Я называю исламом то, что яснее и проще других дал Мохаммед: систему заповедей, основанных на покорности одному для всех Богу. Закон такой же твердый, ясный, обязательный, как племенные, но приспособленный к неплеменному, детрибализованному миру.

К этому пришли все мировые религии, с чего бы они ни начали. Буддизм сперва был только монастырем, — но очень скоро появился «ислам» для мирян. Ислам был только «исламом» — но суфийские ордена, странствующие деревни — своего рода монахи.

Средневековая комбинация «монастыря» с «исламом» была реалистическим выходом из положения. Она дала возможность подняться на новый уровень солидарности (буддийского мира, христианского мира, мира ислама), позволила создать стройную систему культуры, охватившую своим влиянием все слои общества, и консолидироваться после духовной разрухи античных империй. Но потом история свернула. Старый путь оказался тупиком.

«Ислам» сковывал развитие личности. «Монастырь» давал ей только одну дорогу, вверх, а требовалось шире, свободнее развернуться и на плоскости. Это движение разрушило готическую постройку.

Когда говорят о кризисе религии, практически имеется в виду, что средневековая структура (сожитительство «монастыря» с «исламом») не годится для нового времени. Это верно. И дело не только в том, что монастырь или ислам испортились. Нам не стало бы легче, если бы вдруг в первоначальной чистоте возродился ислам первых четырех праведных халифов. Праведные халифы с удвоенным рвением возобновили бы войну с неверными, и ко многим антихристам, обещающим спасти мир, истребив своих врагов, прибавился бы еще один. А у нас, как известно, достаточно спасителей, готовых уничтожить вселенную, лишь бы восторжествовали их принципы, и так как современный интеллигент создает множество принципов (а следовательно, и проектов спасения человечества), мир и без нового Омара или Петра Пустынника достаточно близок к гибели. Что же касается монастырей, то какая-то форма самосохранения тонких и хрупких организмов, возможно, опять возникнет; но какой она должна быть? Этого мы не знаем, и простое сохранение или возрождение старых форм вряд ли достаточно.

Снова, как в древности, возникло сожитительство людей, вышедшее за рамки старых духовных единств, национальных и религиозных. Снова до зарезу нужна нравственная интуиция, всеми заброшенное Царство Божье внутри человека. Снова не хватает солидарности для решения самых элементарных вопросов. Академик Сахаров посчитал, что для того, чтобы не допустить массового голода и ка-

тастрофических общественных судорог в третьем мире, надо обложить развитые страны огромным налогом: но даже налог в 1%, предложенный Горовицем несколько лет тому назад, серьезно не рассматривался. Разумность этого проекта никто, конечно, не оспаривал, но, чтобы принять его, надо опять поставить человека выше субботы (коммунистической, капиталистической, расовой, — любой), нужно возлюбить не только союзников, — ибо «так поступают и язычники», — но и врагов. Без выхода на новый уровень солидарности современные проблемы неразрешимы. Наука может описать современные болезни, вылечить их она не в силах.

И вот оказывается, что мы переросли только популярное средневековое понимание христианства и буддизма, а до того духовного и нравственного уровня, на котором свободно парили Иисус и Будда, нам еще очень-очень далеко. Если бы мы доросли чуть повыше, хотя бы до колен, — самые неотложные вопросы были бы решены.

Не будем спорить, какая вершина выше и как они друг к другу относятся. Но если христианский мир станет хоть немного более христианским, а буддийский мир — буддийским, воспрянет надежда на выход из тупика.*

Вся запутанность, абсурдность нашего времени в том, что мы пытаемся решать проблемы двадцатого

* В какой-то мере это относится и к другим учениям: если индуизм станет ближе к гайтанье, ислам — к ал Халладжу и даже марксизм — к мыслям раннего Маркса об отчуждении... Самое важное сейчас движение — внутри систем, от буквы к духу, а не простая смена символов (перешли из марксизма в православие — и успокоение).

века так, как они решались в девятнадцатом (и раньше: с эпохи Возрождения): опираясь на достигнутый нравственный уровень, принимая его как данность. Мы пытаемся действовать, как Фауст, не замечая, что фаустовская эпоха кончилась, что для развитых стран она исчерпана, что Новое время стало старым. И нужно, как в кошмарном сне, проснуться и освободиться от представлений, потерявших связь с реальностью. Если нет выхода из плоскости интеллекта, это просто значит, что надо подняться на новый духовный уровень, посмотреть на горы, которые кажутся неприступными, сверху.

В этой работе есть свои интеллектуальные задачи. Одна из них, над которой, как мне кажется, стоит подумать — задача скрытого имама. По ишитской легенде мессия (скрытый имам), объявившись, не принесет нового закона (это противоречило бы исламу), но даст новое толкование всех прежних пророчеств, прояснит их духовное единство, — и вражда между «народами книги» исчезнет. Если хорошо выполнить эту задачу, отпадет много недоразумений. Станет ясно, что сегодня нет внутреннего спора между иудаизмом Мартина Бубера, католицизмом Генриха Бёлля и индуизмом Рабиндраната Тагора: между ними может быть установлен духовный, ценностный контакт, — но есть очень существенная разница между христианством св. Франциска и св. Доминика: разница духовного уровня. Очень важно понять, что различия духовного уровня важнее различий языка, а движется к единой вершине, к единому свету, пусть каждый своим путем. Только так можно внести единство в современное, почти бесконечное разнообразие индивидуальностей (национальных и личных). Одного вероисповедания на современный мир не хватит, слишком этот мир пестр.

Но главное не то. Главное не во внешней интеллектуальной возможности диалога, а во внутреннем духовном сдвиге. Главное — зашевелится ли хоть слегка тот самый слой под- или над-сознания, который откликается на подсказку «сверху» и дает силы бороться с шёпотом преисподней.



Это задача не для ученых, не для мыслителей, не для святых, а для каждого. Наша повседневная жизнь создает нравственный климат, в котором рождается Событие. Я не думаю, что от дьявола можно отсидеться, размышляя о положении пучков в многомерном пространстве. Это ему нипочем. Существует простой механизм, описанный в старину как первородный грех.

Среднему человеку, захваченному делами, заботами, болезнями, бегством от скуки и проч., болотные огоньки ближе, чем заря, звезда, Бог. Почва, предоставленная самой себе, родит скорее сорняки, чем пшеницу. Маленький принц каждое утро обходил планету и выдергивал баобабы. Он говорил, что баобабы, разросшись, могут разорвать планету на части.

Если мы будем рассчитывать, что все само собой образуется, без нас, — некому будет помочь Богу.

Октябрь 1968 — март 1969

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛЬШИЕ ЭССЕ

Пережитые абстракции	7
Две модели познания	53
Три уровня бытия	73
Квадрильон	89
Незавершенность	115
Человек ниоткуда	123

МАЛЕНЬКИЕ ЭССЕ

Счастье	179
Очень короткая философия	186
Бог и Ничто	188
Реабилитация чёрта	190
Три клинических случая	192
К теории зари	194
Коан	198
Прямота	199

ПУБЛИЦИСТИКА

Нравственный облик исторической личности	207
По поводу диалога	227
Основные субэкумены	245
Проект письма XXIII съезду	269
Размышляю о Циньском огне	277
Разговор с учеником	315

П о с л е с л о в и е	325
-----------------------	-----